

# СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

---

Том 6 №2. 2007

S O C I O L O G I C A L  
R E V I E W

---

Государственный университет – Высшая школа экономики

Центр фундаментальной социологии

# Социологическое обозрение

ISSN 1728-192X (Print)

ISSN 1728-1938 (Online)

Том 6. № 2. 2007

Интернет-версия журнала на сайте [www.sociologica.net](http://www.sociologica.net)

Главный редактор – Александр Фридрихович Филиппов  
Ответственный секретарь – Марина Геннадиевна Пугачева  
Редактор сайта – Сергей Петрович Еремин  
Литературный редактор – Каринэ Акоповна Щадилова

Адрес редакции: [mail@sociologica.net](mailto:mail@sociologica.net)

Номер выходит в рамках Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПЕРЕВОДЫ

#### **Ирвинг Гофман**

Лекция..... 4

#### **Карл Шмитт**

Разговор о власти и о доступе к властителю..... 27

### ОБЗОРЫ

#### **Анна Борисенкова**

Герменевтические проекты в социологии  
(на примере работ Ю.Хабермаса и П.Рикера)..... 39

#### **Айман Тимошина**

Роль денег в межличностном взаимодействии:  
обзор микросоциологических концепций денег ..... 50

### РЕЦЕЗИИ

#### **Наиль Фархатдинов**

Техника и наука как «идеология»: через 40 лет на русском языке  
Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология»  
/ Пер. с нем. М.Л.Хорькова. М.: Практис, 2007..... 60

### РЕТРОСПЕКТИВА

#### **Виктор Вахштайн**

Памяти Ирвинга Гофмана ..... 65

### СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предисловие к работе ..... 79

#### **Брюно Латур**

Об интеробъективности ..... 81

### IN MEMORIAM

#### Памяти Бориса Андреевича Грушина

Два интервью с Б.А.Грушиным

«Горький вкус не востребованности» ..... 99

«Институт общественного мнения – отдел «Комсомольской правды» ..... 112

## ПЕРЕВОДЫ

*Ирвинг Гофман*

### **Лекция\***

Первоначально данная работа была представлена в виде мемориальной лекции Катца–Ньюкомба в Мичиганском университете в 1976 году. Она предназначалась для произнесения вслух, и с помощью ее текста и выступления я хотел проиллюстрировать некоторые различия между живой речью и печатным словом. Тем не менее исходный формат можно было бы изменить, подвергнув текст умеренной редактуре. Можно было бы опустить указания – лаконичные и не слишком – на время, место и обстоятельства; можно было бы вставить сноски, содержащие соответствующую библиографию, развернутые пояснения и полные ссылки на мимоходом упомянутые источники; можно было бы заменить высказывания от первого лица; можно было бы смягчить категоричные заявления, а также придать тексту другие стилистические и синтаксические черты, свойственные печатным трудам. В противном случае читатели могли бы почувствовать себя обманутыми, встретившись с текстом, адресованным кому-то другому, и автором, который решил не утруждать себя переписыванием. Однако я не стал вносить практически никаких правок в надежде, что явная «неопрятность» данной версии прояснит некоторые особенности фреймирования и, опять же, проиллюстрирует различие между устной и письменной речью, – на этот раз с противоположной стороны, – хотя и гораздо менее выпукло, чем в случае публикации неотредактированной подробной стенограммы аудиозаписи первоначального выступления, снабженной пофразовыми комментариями относительно жестикологии, хронометража и проглоченных слогов. (Последний вариант был бы продуктивен, но публичное препарирование себя требует определенного безрассудства.)

Я привожу этот довод без особой уверенности, поскольку он выступает очевидным (хотя и единственно приемлемым) оправданием того, что читателям придется иметь дело с текстом, не приспособленным к их способу восприятия. Конечно, такое насилие над читателями, как и знание о фреймах, которое они могут получить благодаря ему, частично ограничивается тем фактом, что первоначальное выступление было не импровизацией, а простым зачитыванием машинописного текста и спонтанные уточнения, добавленные к подлиннику в ходе лекции (и в других случаях зачитывания данной работы), были опущены – стандартная практика при переводе устной речи в печатную. Используемые знаки препинания соответствуют письменной грамматике и идентичны тем, которые применялись в машинописном тексте, послужившем основой для выступления, однако то, каким образом они включались в устную версию оригинала, не уточняется – по крайней мере, здесь. (Например, кавычки, имеющиеся в зачитанном машинописном варианте, стоят и в предлагаемом тексте, но читателю не сообщается о том, как выделенные подобным образом слова обозначались в речи: с помощью просодических средств, буквальной транслитерации [«кавычки»... «закрывать кавычки»] или/и жестов пальцами.) Кроме того, в некоторых местах я не смог удержаться от того, чтобы не изменить то или иное слово или не вставить предложение (на самом деле, один-два абзаца) в оригинал, и эти модификации тоже никак не помечаются. Наконец, я добавил вводную часть, которую вы сейчас читаете, а также библиографические ссылки, позволяющие мне выразить признательность Хаймсу (Hymes,

---

\* Goffman E. *Forms of talk*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. P. 160–196.

© Корбут Андрей, Царева Анна, 2007.

© Центр фундаментальной социологии, 2007.

1975) и Бауману (Bauman, 1976) за их помощь. И то, и другое имеется исключительно в печатном варианте. Таким образом, сколь бы коварно ни было исходное выступление, данное отредактированное его документальное воплощение еще более коварно. (Схожее обсуждение произнесенной лекции и схожее предупреждение относительно ее письменной версии см. в: (Frake, 1977).)

## I

Тема и аргументы, приготовленные мною для сегодняшнего выступления, являются частью обширной области исследований, в которой я работаю: натуралистического изучения различных собраний и сборищ людей, то есть форм и обстоятельств взаимодействия лицом к лицу. Рассматриваемая же здесь конкретная форма такого взаимодействия открывает возможности для того, что я называю «анализом фреймов». Других обоснований нет. Поэтому, надеюсь, вы воздержитесь от оценок и не станете сразу же полагать, будто выбрать лекцию в качестве темы может только остряк самоучка, оптимистически пытающийся протолкнуть с кафедры очередную халтуру. Я не пытаюсь уклониться от исполнения своих обязательств перед вами, используя факт моего пребывания на возвышении для разглагольствований о чем-то подручном: о собственном положении за кафедрой. Поступать так, значило бы использовать свою позицию не по назначению, вместо того, чтобы постараться соответствовать ей. Мы уже имели достаточно примеров подобного ребяческого оппортунизма, будь то в лице учителей, практикующих групповую динамику, представителей левого крыла этнометодологии или сторонников школы перформативных имитаций Джона Кейджа. (Человек, заявляющий о своем отказе от подготовленного выступления и намерении импровизировать по поводу того, что значит обращаться к вам, записывать речь или вообще формулировать высказывания, отказывается лишь от плохо подготовленного выступления.) То, что я знакомлю вас со своими размышлениями при помощи лекции, а не, скажем, посредством печати или в ходе беседы, кажется мне простой случайностью. По своему смыслу термин «доклад» (paper) может относиться и к чему-то напечатанному, и к чему-то произнесенному.

Безусловно, ничто из того, что я хотел бы сказать о лекциях, не может поставить под сомнение предоставляемую ими возможность целенаправленной передачи связного фрагмента информации, в том числе – как в моем случае – информации о практике чтения лекций. Одно из обязательных условий достоверности моего анализа состоит в том, что я не могу уклониться от его применения к ситуации сообщения о нем вам; второе условие – такая применимость не перечеркивает ни саму презентацию, ни выдвигаемые аргументы. Тот, кто читает лекцию об ошибках речи и об их исправлении, будет неизбежно делать некоторые из анализируемых им ошибок, но подобная невольная демонстрация лишь подтверждает ценность анализа, даже если она бросает тень на речевую компетенцию аналитика. Тот, кто читает лекцию о дискурсивных допущениях, будет крайне косноязычен, пока, сам того не осознавая, не примет их, как и всякий другой. Читающему лекцию о вступлениях и извинениях все равно будет лучше начать свою речь с предварительных оправданий. И человек, читающий лекцию о лекциях, не имеет никакого особого права читать ее плохо; его описание ошибок выступления будет оцениваться в соответствии с тем, насколько хорошо это описание организовано и подано. Если он не сумеет завладеть вниманием своих слушателей, то его неудачу нельзя будет ретроспективно переопределить как иллюстрацию интерактивной значимости подобной неудачи. Если же он действительно преодолет ограничения лекционной практики, это сделает его докладчиком-исполнителем (performing speaker), а не исполнителем доклада (speaker performing). (Тому, кто стремится к подобному преодолению и успешно его осуществляет, следовало бы выходить на сцену в облегчающем трико и с лютней в руках. Человек, преступающий рамки лекции и терпящий неудачу, – как, похоже, всегда и происходит, – просто откровенный глупец, и ему лучше было бы вообще не появляться на сцене.) Это не значит, что и другие виды нарушения фреймов столь же

однозначно обречены на провал; например, здесь можно сослаться на крайне сомнительную процедуру использования мной в предыдущих высказываниях оборота «тот» (he), аккуратно смешивающего слово с четким половым уклоном, исполняющее функцию неопределенного местоимения, и вполне допустимый анафорический термин, указывающий на человека вроде меня.

Однако чтение лекции о лекциях, несомненно, имеет свою специфику. Распространяться о чтении лекций перед людьми, сидящими на одной из них, – то же самое, что заставлять их дважды отбывать срок за одно преступление, – жестокое и изощренное наказание. Претендовать перед такой аудиторией, как ваша, на экспертное знание лекций, значит вступать на территорию, где самонадеянность оборачивается идиотизмом. Кроме того, как бы я ни убеждал вас, что мои утверждения могут, будут и должны строго придерживаться формата лекции, что-то, похоже, выдает меня. Я знаю, что до конца своего выступления еще не раз обращусь к только что совершенным мной действиям за иллюстрацией к сказанному, поскольку продемонстрировать что-либо у меня наверняка получится лучше, если я сделаю это непреднамеренно, чем если буду сознательно придумывать показательный пример. Но у такого рода самообращений есть допустимый предел. Сами иллюстрации тоже вызывают вопросы. Тот, кто в ходе лекции о юморе рассказывает анекдоты, имеет право – а, возможно, и обязан – рассказывать помимо прочего несмешные анекдоты, поскольку на самом деле вся соль – в анализе, а не в истории; он может «разогреть» свою презентацию иллюстративными анекдотами, но не должен позволять им «сжечь» свои мысли. Точно так же лингвисты, читающие лекции, могут продемонстрировать гортанную смычку или альвеолярный щелчок, а орнитологи – птичье пение, не ставя под угрозу определение происходящего в качестве лекции. На лекции, посвященной серому гусю, слайды, демонстрирующие его угрожающее поведение, совершенно уместны; в этом случае слова и изображения одинаково отстранены от ситуации, в которой они представляются. Фактически, лекторы-медики могут принести настоящего гуся – при условии, что он ручной, – и это вызовет замешательство лишь у птицы. Но когда говорящий использует свое тело, дабы проиллюстрировать угрожающее поведение серого гуся, – что проделывал на наших глазах Конрад Лоренц, – происходит что-то еще, что-то такое, что мог позволить себе только Лоренц, и даже он – не без некоторого ущерба для собственной репутации.

Или еще более запутанный случай: если нарушение приличий совершается в качестве примера нарушения приличий, то есть, совершается как бы в кавычках, насколько это увеличивает отстранение? На лекциях, посвященных пыткам, лекторы, по понятным причинам, не решаются показывать записи реальных пыток; насколько менее рискованным будет, если я покажу подобную пленку в качестве иллюстрации того, что нельзя показывать? Будет ли такого двойного отрыва от реальных событий достаточно, чтобы мы остались в пределах недвижимого мира (unkinetic world), предположительно поддерживаемого на лекциях? Наконец, если учесть, что ситуация, рассматриваемая на лекции, разными способами обособляется (insulated) от ситуации, в которой лекция происходит, – и что ее действительно следует так обособлять, – можно ли обсуждать это обособление на примерах, но не переходя грань, составляющую предмет изучения? И если вся последующая презентация представляет собой один большой пример шаткости границы между процессом указания и указываемым предметом, и я с самого начала заявляю, что так и есть, читаю ли я лекцию или совершаю демонстрацию в лекционном зале? Можно ли вообще прямо поставить этот вопрос, не прекратив читать лекцию? Не поступаю ли я именно так, когда подобным образом рассказываю о гусе?

Обратите внимание: я ввел вас в обсуждение лекции, говоря о лекторе. О нем я буду говорить и дальше. Равновесие могло бы восстановить лишь то, чем я заниматься не собираюсь: анализ особенностей поведения аудитории.

## II

Лекция – это институционализированное продолжительное выступление, в ходе которого говорящий излагает свои взгляды на определенный предмет, и эти мысли составляют его «текст». Стиль, как правило, отличается серьезностью и некоторой безличностью, в то время как руководящей целью выступает достижение спокойного обдуманного понимания, а не развлечения, эмоционального возбуждения или немедленного действия. Ценность высказываний, составляющих лекцию, определяется, по всей вероятности, их способностью свидетельствовать об истине, где истина является чем-то, что должно культивироваться и разрабатываться издали, хладнокровно, в качестве самоцели.

Зачастую предполагается определенная компоновка площадки, подчеркивающая тот факт, что слушатели являются «непосредственной аудиторией». Я имею в виду собравшихся индивидов (обычно сидящих), число которых может значительно варьироваться, не вынуждая при этом оратора (обычно стоящего) менять свой стиль; они имеют право сосредотачивать пристальное внимание на всем теле говорящего (как они поступали бы на концерте эстрадного артиста) и способны (по крайней мере, вначале) передавать свою реакцию лишь косвенным путем.

Выступающих перед аудиторией называют «исполнителями» (performers) и осуществляющими «исполнение» (performance) – в специфическом театральном смысле слова. Тем самым они неявно претендуют на обладание сценическими навыками, без которых обычный человек, вытолкнутый на подмостки, оказался бы растерянным и беспомощным – причиной насмешек, смущения и крайнего раздражения. И они молчаливо соглашались, чтобы их рассматривали в данной перспективе те, кто не обязан подвергаться подобного рода аттестации. Это явно контрастирует с повседневной речью, поскольку в последней, судя по всему, нет необходимости играть какую-то возвышенную роль, не нужно обладать специфической компетентностью, и, несомненно, лишь патологическая застенчивость или какое-нибудь иное необычное препятствие может помешать хмыкнуть или слегка шевельнуть бровями, чего зачастую вполне достаточно. (Это не значит, что в разговоре люди не могут время от времени делать отступления, которые должны расцениваться как развлечение, а не собственно речь, и которые, в отличие от речи, относительно слабо связаны с составом и количеством слушающих.) Так или иначе, в обычной речи каждый, кто судит о компетентности, знает, что его самого оценивают точно таким же образом.

Сфокусированные практики, основанные на отношениях лицом к лицу, – например, игры, совместный труд, театральные постановки или разговоры, – достигают успеха или терпят неудачу как формы взаимодействия в той мере, в какой их участники вовлекаются и погружаются в особую область бытия, возникающую в результате подобных занятий. Таковы и лекции. Однако в отличие от игр и спектаклей, лекции не должны открыто презентовать так, будто их руководящей интенцией является поглощенность. Лекции стремятся к зыбкому идеалу: безусловно, слушателей нужно увлечь, чтобы время прошло незаметно, но увлечь предметом лекции, а не ужимками лектора; считается, что предмет оказывает на слушателей свое собственное глубокое влияние, отличающееся от воздействия, производимого удачными или неудачными аспектами презентации. Лекция должна заставить аудиторию забыть о помещении, поводе, о говорящем и с головой уйти в ее предмет. Так что лектору следует быть исполнителем, но не только. Заметьте, я не говорю, что аудитории регулярно увлекаются темой говорящего; я лишь отмечаю: они обращаются с увлекающим их предметом так, чтобы не разрушать явным образом представление, будто их увлекает именно текст. На самом деле, сказать, что аудитории увлекаются, невзирая на текст, а не благодаря ему, значило бы не сильно погрешить против истины; они многое пропускают, то следя за аргументацией говорящего, то нет, ожидая особых эффектов, которые по-настоящему захватят их и мгновенно окунут в говоримое, – эффектов, которые мне лучше бы не расписывать, а производить.

Обычно при анализе ситуаций, в которых широко используется речь, – Хаймс называл их «речевыми событиями», – употребляется термин «говорящий» (speaker), что буду делать и я. Однако на самом деле термин «говорящий» крайне проблематичен. Можно показать, что он исполняет самые разные и несовпадающие функции, и, похоже, это слово требует, чтобы мы использовали его именно в силу данной неоднозначности, а не вопреки ей. В случае лекции одного из присутствующих можно идентифицировать в качестве говорящей машины, вещи, издающей звук, «аниматора». Обычно на лекциях этому человеку также приписывается «авторство» текста, то есть формулирование и запись высказываемых суждений. Кроме того, в нем видят «принципала», то есть того, кто сам верит в произносимое и придерживается позиции, подразумеваемой его высказываниями. (Разумеется, лектор, скорее всего, полагает, что здравомыслящие люди тоже будут придерживаться описываемой им позиции.)

Мне кажется, совмещение в одном лице аниматора, автора и принципала является характерной (в смысле – распространенной и важной) особенностью лекций. Для них также характерно наделение этого трехликого функционера «авторитетом» – интеллектуальным, в противоположность институциональному. В силу репутации или положения ему приписывают наличие знаний и опыта, касающихся затрагиваемых в тексте вопросов, причем знаний и опыта гораздо более обширных, чем у аудитории. Предполагается, что он не должен бороться за право высказывания, – по крайней мере, в течение оговоренного промежутка времени, – он получает эту монополию автоматически, как часть социального расклада. Ему принадлежит право голоса, но вовсе не обязательно – внимание аудитории. Это было бы справедливо и в том случае, если бы в центре сцены находился не лектор, а певец, поэт, фокусник или какая-нибудь другая «дрессированная мартышка».

Вслед за лингвистом Кеннетом Пайком можно сказать, что лекции относятся к широкому классу ситуационных видов деятельности, в пределах которого четко различаются игра и спектакль, то есть непосредственное занятие и тот интеракционный «соус», под которым оно подается. (Этот «соус» обнаруживается наиболее четко на «предыгровой» и «послеигровой» стадиях, то есть в тех суматошных разговорах и суете, которые непосредственно предшествуют организуемому мероприятию и возникают сразу по его завершении.) Да и сам термин «лекция» создает дополнительные трудности, поскольку порой отсылает к произносимому тексту, а порой – к социальному событию его произнесения. Впрочем, эта двусмысленность свойственна почти всем терминам, обозначающим виды сценической деятельности.

Рассмотренная нами композиция – практика, совмещающая в себе спектакль и игру, – реализуется в разных форматах: это может быть единичное событие, одно из ряда событий, предполагающих ту же самую композицию, но разных говорящих, или занятие в рамках курса лекций одного человека.

Спектакль, то есть социальные хлопоты, сопутствующие чтению лекции, иногда квалифицируется как торжественное событие (celebrative occasion). Под «торжественным событием» я имею в виду социальное мероприятие, которое предвкушается и вспоминается как праздник, непосредственная цель которого – если таковую вообще можно выделить – не единственная причина для участия в нем; скорее, значимость целенаправленно придается социальному общению участников, собравшихся вместе ради чествования или почитания чего-либо, пусть даже исключительно собственного социального круга. Кроме того, существует тенденция описывать участие как вовлекающее всю социальную личность участника, а не только какой-то ее определенный сегмент. (Согласно этому описанию, первая и последняя ночь театрального сезона могут быть торжественными событиями, но промежуточные постановки – вряд ли; рабочий день в офисе не является особым событием, а рождественская вечеринка, хочется надеяться, – да.) Разовым «публичным» лекциям, которые читаются человеком, иначе недоступным для аудитории (или произносятся перед аудиторией, иначе недоступной для него), часто придается вид торжественного события, как и выступлениям перед закрытыми аудиториями в серийном

формате. Лекции в рамках университетского курса, читаемого местным преподавателем, обычно не обозначаются подобным образом, за исключением, иногда, первой и последней. У лекций, относящихся к учебному курсу, есть другая незначительная особенность: на слушателей можно официально возложить ответственность за усвоение сказанного, что наносит сильный удар по ритуальному характеру исполнений. На таких лекциях могут вестись записи, и лектор будет всячески способствовать этому; делающий записи предпочитает получить конспект, а не опыт. (Должен добавить, что торжественные события являются основополагающей формой организации нашей публичной жизни, однако до сих пор они практически не изучались.)

Сбор аудитории с помощью рекламы, объявлений сотрудникам, расписания занятий и т. д., приглашение и оплата лектора, предоставление технической поддержки – все это предполагает наличие организационного персонала, который берет на себя (и на которого возлагается) ответственность, что позволяет говорить об «устроителях» или попечителях лекции. Этим может заниматься какой-то комитет, подразделение университета, профессиональная ассоциация, правительственное учреждение. Попечительская организация чаще всего живет своей жизнью и преследует цели, не ограничивающиеся проведением данной лекции. В той мере, в какой лекция имеет вид торжественного события, она будет прославлять устроителей выступления, даже если почести оказываются выступающему и его теме. (Рок-концерт могут организовывать люди, чья деятельность ограничивается лишь проведением этого концерта, поэтому подобное мероприятие вряд ли способно служить прославлению имени его устроителей – промоутеров, – надеющихся на более осязаемое вознаграждение.) В ходе торжественных событий, частью которых должна быть лекция, переход от спектакля к игре, от потехи к делу, обыкновенно (в чем вы недавно убедились) разбивается на два шага: на первом выступает один из устроителей, представляющий лектора, на втором – лектор, представляющий свою тему. Иногда представление, совершаемое представляющим, само разделяется на две части, и сначала представляется представляющий, как будто организаторы считают, что данную возможность можно использовать с максимальной пользой для себя, если ввести больше, чем одного соискателя.

Заметьте, в круг забот организаторов входят не только проведение лекции, но и ее фото-, аудио- и стенографическая фиксация, поскольку она может служить интересам организации не меньше, а то и больше самого выступления. (Яркий пример – благотворительный сбор в пользу какой-нибудь достойной организации, затраты на проведение которого обычно едва окупаются выручкой от продажи билетов; его настоящая негласная цель – засветиться в газетах.) Несомненно, реклама лекции – это также реклама ее устроителей; освещение лекции в прессе ведет к такому же результату. (В этой связи представляют интерес университетские студенческие газеты. Якобы служащие выражению независимого, или даже оппозиционного, мнения студентов, они на самом деле функционируют в качестве рупора администрации, освещая то, что в противном случае могло бы благополучно остаться незамеченным.)

Здесь мы видим явную связь между формальными организациями и «системой звезд»\*. Самооценка попечительских организаций зачастую определяется степенью публичной поддержки и одобрения, признанием их существования и их миссии, даже если их финансовые ресурсы оставляют желать лучшего. Главный способ заявить о своем попечительстве перед общественностью – прорекламиривать празднование какого-либо памятного события и обеспечить его освещение прессой. Чтобы сделать подобное событие значимым для широкой публики, неплохо бы запланировать появление одного-двух известных людей – выдающихся личностей. Благодаря этому пространственно удаленная публика получает повод отправиться в путь ради того, чтобы стать свидетелями события. В определенном смысле осуществляемая институтом реклама не возникает в ответ на

---

\* «Система звезд» – способ «продвижения» фильмов в прокате и на широких экранах; в данной системе успех фильма определяется участием в нем знаменитых исполнителей. «Система звезд» возникла изначально в театральном мире, но сегодня это один из принципов индустрии кинематографа. – *Прим. ред.*

предвосхищаемое появление известной фигуры, скорее, известная фигура способствует презентации чего-то, нуждающегося в широкой рекламе. Поэтому можно было бы также сказать, что большие залы строятся не с целью размещения множества людей, а с целью обеспечения широкой рекламы. Разумеется, престиж лектора важен в другом отношении: своим общественным весом выступающий повышает статус организации-устроителя и учреждаемых ею социальных событий, очевидно, полагая, что достойные люди участвуют только в достойных мероприятиях. Одалживая подобным образом свое имя, лектор получает взамен известность и гонорар – вознаграждения, дополняющие теплый прием его речи и возможность ее произнесения. Во всем этом мы обнаруживаем проблески связей между социальными мероприятиями и социальными структурами, указания на политику церемоний, а также другой подход, в рамках которого превосходство определяется не столько отличительными достижениями, сколько организационными потребностями попечителей и устраиваемыми ими событиями.

Между устроителями и лектором может существовать неявное, кто-то даже скажет дьявольское, соглашение. И соблюдается это соглашение ценой самой лекции как способа передачи знаний. Лектора побуждают приспособлять свои высказывания к уровню понимания широкой аудитории – аудитории, достаточно большой, чтобы обеспечить празднование и окупить затраты. Его побуждают занимать своими высказываниями столько времени, сколько аудитория сможет выдержать, а также использовать приемы, которые не дадут аудитории утратить интерес. И его побуждают стойко переносить любого рода грубые вмешательства со стороны журналистов, фотографов, звукотехников, равно как и прочие помехи, нередко возникающие в самый разгар мероприятия. (Если в какой-то момент вы захотите убедиться, что говорящий действительно целиком погружен в содержание сообщения, обратите внимание, сколь умело он игнорирует фотографов, будто бы ничуть не мешающих его выступлению. Подобная откровенная «забывчивость» может быть, конечно, следствием его увлеченности вами, а не желания соответствовать правилам публичности, но не стоит сильно на это рассчитывать.)

Наконец, необходимо отметить, что хотя чтение лекции может быть основной задачей социального события, частью которого оно является, – что, по-видимому, было бы идеально с точки зрения выступающих, – как правило, имеет место другая ситуация. В Соединенных Штатах, например, существует институт «обеденных лекторов» (lunch speakers), в основе которого лежит представление, будто бы регулярное совместное принятие пищи членами организации не полно без приглашенного докладчика, чья личность или тема – далеко не самый главный фактор при выборе; им может быть любой подвернувшийся под руку лектор, выступающий за деньги. (Конечно, во многих случаях нам было бы естественнее называть такого рода обеденные представления «произнесением речи», а не «чтением лекции», где одно отличается от другого главным образом систематичностью изложения темы.) И как событие может использовать выступающего, так и выступающий может использовать событие, например, когда политика приглашают, чтобы украсить местное собрание, хотя его основная цель – донести свои слова до аудиторий СМИ.

### III

Все, что я говорил до сих пор о лекциях, вполне очевидно и не требует специального рассмотрения; теперь мы переходим к более содержательным вопросам.

В нашем обществе известны три способа анимации устной речи: *повторение по памяти*, *чтение вслух* (то, чем я занимался до сих пор) и *неподготовленная речь*. В случае неподготовленной речи аниматор формулирует текст в каждый момент времени или, по крайней мере, в каждой клаузе\*. Это создает впечатление, что формулировка является

---

\* Клауза – минимальная предикация, элементарная синтагматическая единица, предложение. Однако от понятия «предложение» в русском языке ее отличает то, что предикат клаузы может быть как финитным (в личной форме), так и нефинитным. – *Прим.ред.*

реакцией на текущую ситуацию, в которой произносятся слова, в том числе – на наличный состав присутствующих и содержание головы говорящего, а также (хотя и не только) на то, что можно было бы предвидеть и предусмотреть. Повторение по памяти иногда используется в лекциях, но не повсеместно. (Театральные роли представляют собой более сложный случай: они произносятся так, будто являются неподготовленной речью, и хотя все знают, что их заучивают наизусть, это знание не должно использоваться, видимость неподготовленной речи должна сохраняться.) Распространенным способом высказывания на лекциях является чтение вслух. Общим идеалом, вероятно, выступает неподготовленная речь, которая (в сопровождении записей) встречается довольно часто.

Повторение по памяти, чтение вслух и неподготовленная речь – различные способы производства высказываний. Каждый из них предполагает особую форму отношений между говорящим и слушающим, обеспечивая лектора специфической «опорой» (footing) во взаимодействии с аудиторией. Переходы от одной формы к другой, то есть «изменение способа производства», означают для говорящего смену опоры и, как будет видно, играют ключевую роль при чтении лекций. Главный вопрос, который мы рассмотрим далее, – зависимость значительного числа лекций (за исключением данной, в силу моей некомпетентности) от иллюзии неподготовленной речи. Добавлю, что дикторы на радио должны поддерживать такого рода зыбкое впечатление в еще большей степени.

Нужно отметить, что неподготовленная речь сама по себе в чем-то иллюзия; она никогда не бывает настолько неподготовленной, как кажется. Несомненно, мы строим свои высказывания из сегментов длиной во фразу и клаузу, каждый из которых в определенном смысле сначала формулируется в уме, а затем воспроизводится. Во время произнесения одного сегмента необходимо мысленно формулировать следующий, так, чтобы они сменяли друг друга без превышения допустимого лимита пауз, возобновлений, повторов, переадресаций и других лингвистически обнаружимых дефектов. Лекторы отмечают естественный поворотный момент в процессе приобретения навыка неподготовленной речи, когда чувствуют, что они способны заканчивать определенный сегмент, не зная, что будет дальше, но будучи уверенными, что они смогут (причем вовремя) предложить нечто грамматически и тематически приемлемое, при этом ничем не обнаружив случившегося кризиса производства. И они отмечают для себя естественный поворотный момент в процессе овладения умением произносить неподготовленные высказывания или читать вслух, когда понимают, что способны задумываться о том, как они действуют, о том, не слишком ли рано или не слишком ли поздно заканчивать сегмент, а также о том, что они собираются делать дальше, ничем не выдавая свои «закулисные» размышления, поскольку, если такого рода озабоченность станет явной, это поставит под угрозу иллюзию, будто они надлежащим образом участвуют в коммуникации.

Выше я утверждал, что лекция включает текст, который с таким же успехом можно было бы передать посредством печатной или неформальной речи. В этом случае содержание лекции не следует рассматривать в качестве отличительной и характерной особенности практики ее чтения. Максимум – остаются специфические особенности чтения какого-либо конкретного текста в формате лекции. В лучшем случае – пересечение, связка текста и ситуации его преподнесения. Остается только форма, интеракционная оболочка; коробка, а не торт. Я полагаю, что эти интеракционные аспекты можно выявить лишь всесторонне и тщательно рассмотрев вопрос об отношении говорящего к самому себе – вопрос, который легко поддается взвешенному анализу в письменном тексте, но который трудно сделать предметом лекции, не злоупотребив при этом своим положением за кафедрой. Я имею право привлечь ваше внимание и направлять его на ту или иную релевантную тему, включая меня самого, если я способен встроить этот конкретный объект в определенное тематическое событие или мнение. Я имею право – на самом деле, я обязан – поддерживать коммуникативный процесс (независимо от того, являюсь я героем собственной речи или нет) с помощью любых подходящих жестов и зримых телодвижений. Однако если в силу сказанного мной вы концентрируете свое внимание на сопутствующей анимации, если из-за

моих замечаний вы фокусируетесь на процессе их произнесения, тогда под угрозой оказывается нечто, образующее структурное ядро речевых актов: разделение между внутренней и внешней стороной слов, между областью дискурсивных значений и механикой производства дискурса. Эта разделительная линия, эта мембрана, эта грань очень хрупка; претерпеваемые ею метаморфозы во многом определяют, принесет ли событие удовольствие или разочарование.

#### IV

Теперь рассмотрим опору и ее изменения. Иначе говоря, рассмотрим различные смыслы, в которых может выступать «Я» высказывающегося, различные проекции «Я», обнаруживаемые в том, что говорится и делается на возвышении.

В центре, безусловно, располагается текстуальное «Я» – человек, который якобы стоит за текстуальными высказываниями и придает им авторитетность. Обычно такое «Я» имеет относительно долгую историю, поскольку говорящий был связан с ним задолго до текущей ситуации произнесения речи. Именно это «Я» окружающие будут указывать в качестве автора различных публикаций, приверженца различных позиций и т. д. Нередко для обозначения соответствующего качества и позиции по отношению к аудитории, которую занимает данное конкретное «Я», говорящий использует термин «я» или даже «мы», однако подобное эксплицитное употребление местоимений необязательно. Наряду с этим академическим голосом иногда обнаруживается релевантный историко-эмпирический голос, который заявляет о себе при воспроизведении лектором определенного отрезка своего личного прошлого опыта, в течение которого произошло что-то, имеющее отношение к тексту. (Лекция, читаемая вернувшимся домой военным корреспондентом или дипломатом, будет полна такого рода вещей, равно как и лекции маститых ученых, вспоминающих о своих личных встречах с прославленными коллегами.) Обратите внимание: это текстуальное «Я», предполагаемое и проецируемое в процессе передачи знаний или исторически релевантного личного опыта, может быть полностью отражено при помощи напечатанных слов; оно может целиком реализоваться в печатной версии текста лекции, будучи производным от этого текста, а не, скажем, от способа, которым оно устно сообщается в каждом отдельном случае. Примечательно, что это «Я» может проецироваться, даже когда сам автор болен и его обращение читается кем-то, его заменяющим.

Однако на самом деле интересной и аналитически релевантной особенностью лекции как исполнения является не текстуальная позиция, проецируемая в ходе ее чтения, а дополнительные опоры, используемые параллельно, опоры, единственная задача которых – «оттенить» производимый текстом эффект. Я имею в виду различные формы изменения дистанции (некоторые – очень непродолжительные), выступающие подвижным контрапунктом текста, а также расширительные комментарии и жесты, относящиеся не к содержанию текста, а к механике его сообщения в данном конкретном случае и в данных конкретных обстоятельствах.

Во-первых, существуют соединительные «переключения» (keying). Опубликованный текст серьезной статьи может содержать пассажи, которые не нужно интерпретировать «прямо», а скорее следует понимать как сарказм, иронию, «услышанное из чужих уст» и т. п. Однако подобного рода самоустранение из буквального содержания собственных высказываний гораздо более распространено в устных сообщениях, поскольку в них голосовые знаки могут указывать на то, что границы и характер предположительно цитируемого отрывка отличаются от подразумеваемо нормального потока речи. (Не говоря уже о том, что эти паралингвистические маркеры могут быть нормально идентифицированы и – вот как сейчас – транскрибированы.) Так, компетентный лектор способен прочитать отрывок с насмешкой в голосе или отстраниться от высказывания, чуть приподняв свои вокальные «брови». С другой стороны, приступая к чтению определенного пассажа, он может разрушить установленную им дистанцию и позволить своему голосу исполниться

чувства, убежденности и даже страсти. Осознание того, что эти вокально выделенные отрывки нельзя обозначить похожим образом в печатном тексте, создает у слушателей ощущение того, что они имеют привилегированный доступ к сознанию автора и что живое слушание обеспечивает такой контакт, который невозможен при чтении.

Во-вторых, рассмотрим текстовые скобки. Как вы знаете, работы, предназначенные для публикации, а не для чтения, чаще всего содержат введение и заключение. Такие скобочные фрагменты представляются аудитории с другой интонацией, нежели основной текст. Однако это вовсе не обязательно предполагает смену опоры – хотя, должен добавить, в полноформатных книгах такая смена, скорее всего, будет иметь место. В случае же докладов, предназначенных для *устного* произнесения, текстовые скобки, похоже, предполагают некоторую замысловатую работу с опорой. Считается, что введение намечает перспективу последующего обсуждения. Говорящий делится с нами тем, что еще он мог бы, но не станет рассказывать нам, а также тем, какие опасения у него есть в отношении последующих слов; и если мы сочтем дальнейшее повествование слабым, ограниченным, спекулятивным, самоуверенным, унылым, педантичным и т. п., мы сумеем понять, что говорящего (как он надеется) не стоит целиком оценивать на основании сказанного. Помимо восхваляемого «Я», которое подразумевается самим фактом продолжительного выступления с серьезной темой перед группой людей, ему также должны приписываться обыкновенные качества: скромность, непритязательность, практичность, готовность воздержаться от помпезной презентации, наконец, понимание того, что демонстрируемое текстуальное «Я», – не единственная личина, под которой он хотел бы стать известен, по крайней мере, среди собравшихся.

Заключительные комментарии носят схожий характер, в данном случае позволяя говорящему «слезть с коня», перейти обратно от текстуального «Я» к «Я» спонтанному, реагирующему на ситуацию, показать, что путь, избранный в предложенной лекции, – лишь один из возможных путей, а заодно вернуться в аудиторию в качестве одного из ее членов, равного среди равных. Если проводить сопоставления, то заключительное слово – это нечто среднее между вызовом актера на сцену по окончании спектакля, когда исполнитель, наконец, появляется не в качестве персонажа пьесы, и кодой (в терминологии Лабова), перекидывающей мост от ситуации, в которой рассказчик принимал участие как протагонист, к текущей ситуации человека, стоящего перед слушателями. Для такого «понижения передачи» (down-gearing) говорящий может, разумеется, использовать непринужденность ответов на вопросы – благодаря им некоторые члены аудитории получают возможность вступить в прямой разговорный контакт с лектором, что означает фактическое изменение правил игры. В конце концов, ответы на вопросы требуют неподготовленных высказываний. Другими словами, ответы на вопросы вынуждают переходить от чтения вслух к неподготовленной речи, и говорящие часто обозначают этот переход с помощью ритуальных способов заключения в скобки (bracket rituals), таких как закуривание сигареты\*, смена стоячего положения на сидячее, отпивание воды из стакана и т. п.

Как говорилось выше, введения и заключения, то есть скобочные формы выражения, возникают на стыке между спектаклем и игрой, в данном случае – между лекцией и событием ее прочтения. Как бы там ни было с ответами на вопросы, предварительные и заключительные комментарии обычно сообщаются с помощью неподготовленной речи или ее более серьезной симуляции, нежели та, которая применяется в процессе чтения самой лекции. Эти комментарии, вероятно, будут содержать прямое указание на что-то, справедливое лишь в отношении текущего социального события и наличной аудитории. Обратите внимание: когда на одной сцене выступают сразу несколько говорящих,

---

\* Любопытно, что в современном американском университете уже довольно трудно представить себе «закуривание сигареты» в качестве ритуального способа постановки скобок. Это лишний раз подтверждает гофмановский тезис (неоднократно высказывавшийся им в «Анализе фреймов») об изменчивости правил фреймирования в долгосрочной перспективе. – *Прим. ред.*

миниверсии открывающих и закрывающих скобок могут появляться *в ходе* самой презентации, иногда – при переназначении главной фигуры, что указывает на переход роли говорящего от одного человека к другому.

Итак, существуют текстовые скобки. В-третьих, существуют вводные (parenthetical) реплики. Если снова обратиться сначала к *печатному* тексту – предназначенному для чтения, а не выслушивания, – то обнаружится, что автор пользуется правом вводить замечания, поясняющие, развивающие, уводящие в сторону, оправдывающие, страхующие, комментирующие и т. д. Эти непродолжительные изменения голоса, эти кратковременные смены опоры могут обозначаться на печати скобками, тире и пр. Либо может применяться тяжеловесный механизм сносок. (Сноски настолько институционализированы в качестве способа обозначения такой смены голоса, что человек, не являющийся автором, например, редактор или переводчик, тоже может использовать сноски для комментирования текста голосом, который заведомо радикально отличается от голоса в тексте.) С помощью всех этих приемов писатель на короткое время изменяет опору, соотносящуюся с его текстом в целом, открываясь тем самым читателю с несколько иной стороны. Заметьте, подобные уточнения обычно расширяют «производственную базу» для читателя, предоставляя ему больше сведений об обстоятельствах и мнениях автора, нежели голый текст.

Если перейти от печатного текста к устному, станет заметно, что легко отображаемые на печати вводные замечания остаются; однако теперь они значительно усиливаются репликами, которые вряд ли появятся в печатной версии выступления. (Как известно, рекламисты порой используют такой прием: они помещают на полях печатного текста заметки, набранные рукописным шрифтом; эти заметки должны, по замыслу, создавать впечатление живых раздумий, обеспечивая тем самым переключение на коммуникацию, изначально не предназначенную для печати, коммуникацию, которая призвана свидетельствовать о сложной работе мысли.) Иными словами, по ходу выступления говорящий почти наверняка будет делать замечания, поясняющие, развивающие и интерпретирующие содержание текста, расширяя тем самым вводные комментарии, предназначенные для печатной версии. Хотя эти замечания могут быть всецело научными и серьезными, они все же немного изменяют позицию говорящего в отношении слушателя, изменяют опору, которая, в свою очередь, отсылает к иной грани «Я», отличающейся от той, что проецировалась до сих пор. На печати таких результатов можно добиться лишь частично, прибегнув к ближайшим доступным эквивалентам: вводным предложениям и сноскам.

Вводные ремарки крайне интересны с точки зрения интеракции. С одной стороны, они ориентированы на текст, с другой, они тесно связывают атмосферу события со специфическим интересом и идентичностью конкретной аудитории. (Заметьте, в беседе, в отличие от лекций, за один раз произносится лишь одна фраза или клауза, что позволяет говорящему откликаться на непосредственно складывающиеся обстоятельства с помощью слов, использованных для построения основного текста.) Вводные замечания по тексту передают уточняющие мысли, к которым говорящий якобы пришел в данный момент. Говорящий как бы становится маклером собственных утверждений, посредником между текстом и аудиторией, орудием, способным улавливать невербально выражаемые интересы слушателей, и реагировать на них в соответствии с текстом, а также со всеми своими знаниями и опытом.

Неподготовленная речь подходит для передачи вводных комментариев даже больше, чем для замечаний, устанавливающих скобки, поскольку каким еще образом говорящий может отреагировать на траекторию *текущей* ситуации? Отметим, что хотя спонтанные ответы на ими самими «вращенные» в аудитории вопросы имитируют лишь политики и другие публичные игроки, очень многие говорящие имитируют неподготовленную речь, делая вводные текстовые замечания. Говорящий заранее предусматривает некоторые из этих реплик и может даже включать их в копию текста, предназначенную для зачитывания, в форме заметок, напоминающих о той опоре, которую нужно использовать при их

произнесении. Все это, заметьте, роднит лекции с историями или анекдотами: рассказчик может (и его побуждают к этому) повествовать так, словно это делается в первый и последний раз. Единственное ограничение состоит в том, что никто в аудитории не должен слышать его исполнение прежде. По сути, любая коммуникация в чем-то поощряет иллюзию «первого и последнего раза».

В этом кроется определенная ирония. По ходу лекции возникают такие моменты, когда говорящий кажется наиболее чувствительным к атмосфере события и лучше всего готовым с помощью остроумных и спонтанных реакций продемонстрировать, насколько полно он мобилизовал свой дух и разум на данную минуту. Но эти мгновения вдохновения зачастую оказываются и самыми подозрительными. В такие моменты говорящий, скорее всего, сообщает то, что он когда-то заучил наизусть; ему случайно приходит на ум высказывание, которое столь уместно, что он не может устоять перед искушением повторно использовать его в данном месте своей речи. Или взять такой тяжеловесный пример, как рассказанный между делом анекдот. Он рассказывается так, словно его произнесение не было запланировано, просто история оказалась настолько подходящей, что говорящий не мог не поведать ее, даже несмотря на некоторое отклонение от темы. В этот очевидно релевантный момент редко кто задумывается о том, что анекдоты специально предназначены для подходящих случаев. Как и при находчивых ответах, стандартных извинениях и других универсальных связках (joints) дискурса, истоки релевантности здесь следует искать не столько в ситуации, сколько во внутренней организации самого анекдота. Короткие рассказы, которые мы позволяем себе включать в текущую речь, мы, скорее всего, включали раньше в другие выступления, не говоря уже о прошлых презентациях данного текста.

Могу ли я сделать короткое отступление? Вводные пояснения существуют в любых формах коммуникации, хотя в разных случаях они играют разную роль. В ходе разговора рассказчик, занятый изложением истории, как бы перебивает свою речь, полностью разрушая фрейм повествования, чтобы ввести пропущенную деталь, или разъяснить подоплеку, релевантность которой стала очевидной только теперь, или предостеречь слушателей насчет того, что вот-вот произойдет кульминационное событие. Поп-певцы между песнями обычно переходят к прямой речи, делая замечания за рамками фрейма, служащие переходами между разными композициями; при этом они выступают от «собственного» имени, а не от лица персонажей своих песенных драм. Иногда они настолько увлекаются фигурой, которую «кроят» (cut), когда не поют, что начинают вести себя как эстрадные комики, растягивая эти переходные моменты. Другого рода пример – чтение собственных поэтических произведений. Как и в случае пения, сегментированный характер выступления в той или иной степени требует вводных переходов от одного фрагмента выступления к другому, однако у поэтов гораздо меньше возможностей для проецирования в эти моменты. Поэзия сама по себе заключается в развитии уточняющих и побочных линий, которые поэт может проводить в пространстве некоторой заданной темы; в тексте должны быть сжато представлены аллюзии на большую часть того, что мог бы добавить реальный комментатор, и желательно, чтобы это звучало спонтанно. Начать «кроить» фигуру, говорящую о стихотворении, – значит перестать «кроить» фигуру, действующую в нем.

Вернемся обратно. Заключение в скобки и вводные ремарки, а также переключения, накладываемые на текущий текст, говорят больше, чем текст, о ситуации, в которой читается лекция, в отличие от ситуации, о которой читается лекция. К тому же, эти ремарки могут включать элементы биографического опыта говорящего-автора, обусловленные присутствием *данного* конкретного говорящего, а не просто какого-либо говорящего. Именно поэтому печатные версии произнесенного текста чаще всего лишены предваряющих и текстовых отступлений, которые оживляют устную презентацию; то, что заманчиво и релевантно для физически присутствующей аудитории, вряд ли будет уместно и удобно для читателей. Дело не столько в том, что непосредственно присутствующая аудитория и читатели находятся в разных обстоятельствах – хотя это действительно так, – сколько в том, что говорящий может непосредственно воспринимать обстоятельства своих реципиентов, а

писатель – нет. Тематические и локальные особенности, которые говорящий может упоминать и на которые он может реагировать, нельзя сделать предметом внимания в печати. А именно благодаря такой реакции социальное событие способно стать осязаемым.

Рассмотрим теперь некоторые слова, используемые говорящими для описания своей аудитории, – слова, во многом сходные с теми, что используются любым другим сценическим исполнителем. Аудитория, которую говорящий ощущает как «безответную», аудитория, которая не принимает маленьких жемчужин, преподносимых выступающим, и не дает обратной связи в виде смеха или каких-либо иных знаков внимания, будет вынуждать его строго придерживаться оригинала. Аудитория «хорошая» или «теплая», т. е. такая, которая легко и слышимо реагирует на высказывания, охотно и одобрительно откликается, которая демонстрирует готовность воспринимать его намеки и саркастические замечания именно так, как он задумывал, скорее всего, будет побуждать говорящего развивать каждую фразу или формулировку, вызывающую ответную реакцию: он будет продолжать импровизировать в данном направлении до тех пор, пока аудитория демонстрирует своими жестами, что он попадает в точку, – своего рода игра на слух, которую, по мнению Альберта Лорда, практикуют чтецы эпической поэзии. (Иногда, чтобы аудитория стала «теплой», ее нужно «разогреть», что целенаправленно предпринимается в эстрадных программах, хотя на лекциях этому моменту обычно уделяют мало внимания.) Опять же, заметьте, пояснения в форме неподготовленной речи, являющиеся реакцией на реакцию аудитории, вряд ли найдут отражение в печатной версии выступления, поскольку писателю неоткуда взять реакцию, побуждающую к такого рода замечаниям.

Понять ситуационную работу соединительных переключений, текстовых скобок и вводных высказываний можно, если подвергнуть рассмотрению эффекты дисфории\*, возникающие в том случае, когда обстоятельства требуют, чтобы речь автора прочитал кто-то другой. Эта замещающая речь может быть наполнена таким же количеством различных «Я» и других самореферентных фраз, как и нормальное выступление. В ней даже, как и в тексте, может применяться стиль, удобный для говорения, а не чтения. Но она все же не способна обеспечить обыкновенные переключения, скобки и вводные пояснения. Говорящий, не являющийся автором, то есть заменяющий его, может предпослать чтению объяснение: почему он делает это, признавшись с самого начала, что «Я» в тексте – это, конечно же, не он (хотя он все равно будет использовать данный термин); в процессе чтения он может даже разрушать фрейм и вводить собственные вводные пояснения, как это делает редактор печатного текста в редакторских примечаниях. Однако произнесение того или иного пассажа с иронией или воодушевлением привело бы к путанице. Чья это ирония? Чье воодушевление? Использование вводных выражений чревато такой же дилеммой, поскольку в данном случае неподготовленные отступления могут передавать лишь мысли второго автора. Дублер, отклоняющийся от определенного пассажа, должен понимать, что его действие слишком легко расценить как оплошность. В любом случае все эти изменения опоры происходят на очень глубоком уровне; они по-прежнему проецируют «Я» аниматора, но на этот раз не автора текста, углубляя тем самым разрыв, преодолеваемый успешной лекцией. Такая компоновка ставит под угрозу ритуальные элементы презентации. (Неудивительно, что подобное наблюдается преимущественно на профессиональных конференциях, где на одной секции может сообщаться о работе трех-пяти ничем не примечательных авторов, так что отсутствие одного или двух из них лишь незначительно снижает ритуальный накал события.)

---

\* Используемый здесь термин «дисфория» следует отличать от аналогичного термина в психологии, которым обозначается угрюмое, ворчливо-раздражительное, злобное настроение с повышенным беспокойством в ответ на самые незначительные внешние раздражители. Дисфория у Гофмана – это ситуация нарушения привычных контекстуальных правил поведения, требующая от участника взаимодействия мобилизации ресурсов самоконтроля. В дисфорической ситуации оказывается, например, актер, забывший роль. Противоположность дисфории – эфория, сохранность контекстуальных норм, которая позволяет участникам «расслабиться» и не контролировать каждый свой шаг или слово. – *Прим.ред.*

Выше были упомянуты три места для смены опор: переключающие фрагменты, текстовые скобки и вводные замечания. Наконец, рассмотрим – ценой длинного отступления – четвертое место, связанное с управлением непредвиденными обстоятельствами исполнения.

Любая передача сигналов по каналу обязательно сопровождается «шумом», то есть сообщениями, которые не являются частью посланного сигнала и снижают его чистоту. В телефонной связи такой помехой выступает звук, при телевизионной трансляции – как можно легко заключить из названия – звук и свет. (Я полагаю, что люди, читающие Брайль, также сталкиваются с осязательным шумом.)

Тем, кто смотрит телевизор, совершенно ясно, что искажение принимаемого сигнала может иметь радикально разные источники: помехи в студии, поломку в телевизоре, работающий неподалеку электронный прибор, вроде индукционной катушки, и пр. Существуют, конечно же, вполне прагматические причины для установления источника помех; например, когда виновником является станция, она может информировать об этом аудиторию с помощью особого визуального или звукового сигнала. Теперь взгляните на телефон. Во время обычного телефонного разговора трубка прилегает к уху, так что беспокоиться о шуме в этой контактной точке системы нет нужды; в худшем случае придется просто прикрыть второе ухо. Пример телевизоров (и телефонов с громкой связью) показывает, что в коммуникационную систему между точкой испускания сигнала и получателем может проникать значительный шум, как бывает, когда пытаешься слушать радио сквозь шум неизолированного двигателя или ловить радиопрограммы «в эфире». Кроме того, очевидно, что говорящий и слушающий могут перестать эффективно коммуницировать посредством телефона из-за присущих физических недостатков, например, когда у одного ларингит или у другого проблемы со слухом. Если расширить значение термина «шум», то все подобные ограничения передачи тоже могут стать предметом внимания.

Я останавливаюсь на этих очевидных моментах, чтобы обосновать следующую формулировку: в ходе коммуникации всегда возникает шум; коммуникативную систему можно рассматривать как многоуровневую композитную структуру, включающую электронный, физический, биологический и прочие уровни; эффективная коммуникация восприимчива к источникам шума, располагающимся на разных уровнях в структуре поддерживающей ее системы.

Следующее, что необходимо отметить: в любой коммуникативной системе реципиенты вырабатывают определенную нечувствительность к различным формам шума, они могут игнорировать подобный звук, не особо отвлекаясь на него. Благодаря такой установке реципиентов отправители получают возможность вести их за собой. Помимо прочего, и получатели, и отправители проявляют безразличие к определенному шуму, обходясь с ним так, словно его нет, даже если он им мешает. Далее, вне зависимости от того, создает помехи конкретный источник шума или нет, участники коммуникативной системы могут предпринимать физические действия, рассчитанные на улучшение рецепции.

Для завершения картины нужно лишь добавить, что отправители имеют в своем распоряжении еще один способ поведения. Осуществляют ли они физические действия по улучшению передачи или нет, они могут прямо сказать о препятствии и о своих попытках его устранения (если таковые предпринимаются), используя вводные замечания. Эти замечания неизбежно разрушают фрейм, поскольку вместо передачи ожидаемого текста отправитель передает комментарии относительно передачи. У отправителей есть самые разные мотивы для совершения подобных действий. Они могут не хотеть, чтобы помеха, возникающая в коммуникации, осталась без объяснения или оправдания, вероятно, надеясь, что в таком случае их не будут обвинять в этих недоразумениях. Или им может казаться, что поддержание видимости невозмутимости само может стать помехой для участвующих сторон и что открытое признание затруднения избавит слушающих от необходимости

изображать безразличие. Либо они могут чувствовать потребность предвосхитить другие интерпретации возникшей помехи.

Вернемся теперь к рассматриваемой коммуникативной системе – лекции. Очевидно, что шум, возникающий в ходе лекции, может носить звуковой или визуальный характер, а его источник может располагаться в самых разных местах, скажем, за стенами аудитории, внутри помещения, среди собравшихся или на возвышении. Последнее месторасположение особенно важно, потому что шум, исходящий с возвышения, гораздо сложнее проигнорировать, нежели шум, исходящий из мест, которым аудитория не обязана уделять свое внимание.

Как источник потенциального шума возвышение представляет собой многоуровневое явление. Одним из источников мы обязаны тому факту, что у лекторов есть тела, а тела могут легко создавать визуальные и звуковые эффекты, не связанные с потоком речи и способные вызывать помехи. Говорящий должен дышать, немного поворачиваться, иногда почесываться, он может даже почувствовать желание кашлянуть, пригладить волосы, расправить рубашку, шмыгнуть носом, глотнуть воды, повертеть в пальцах свои украшения, протереть очки, чихнуть, переступить с ноги на ногу, размять конечности, манерно застегнуть и расстегнуть пиджак, перевернуть страницы и выровнять их и т. д. – не говоря уже о цеплянии за ковер или появлении с расстегнутой ширинкой. Обратите внимание: эти телесные шероховатости могут в равной степени досаждают и таким искусственным эстрадным исполнителям, как певцы, экстрасенсы и юмористы.

Другой структурный источник шума может быть расположен еще ближе к источнику передачи, – это мелкие особенности человеческого речевого аппарата, влияющие на построение высказываний, например, шепелявость, заячья губа, ларингит, аффекация речи, сильный акцент, кривошея, присвистывание и т. д. Их можно назвать аппаратными искажениями человеческого, а не электронного типа. Эти искажения сопоставимы с теми, которые вносят в концерт неправильно настроенные инструменты, в разговор двух людей – косоглазие одного из них, в общение с печатной страницей – сползание строк, в показ слайдов – плохое освещение и, разумеется, в выступление на сцене – неисправный микрофон.

Изъяны человеческого звукового аппарата как класс не подвергались систематическому изучению, однако существуют исследования очень близкого источника трудностей: искажений при кодировке, дифференцированно связанных с элементами речевого потока. Говорение неизбежно сопровождается тем, что можно лингвистически определить как дефекты: паузы (заполняемые или нет), возобновления, тематические скачки, повторения, неразборчивые слова, случайные двусмысленности, подборы нужного термина, пропуски и т. д. То, что именно создает помеху, в огромной степени определяется используемой речевой формой – неподготовленной речью, повторением по памяти или зачитыванием.

В ходе лекций аппаратные и кодировочные искажения неизбежны; они означают, что за коммуникацией стоит живое тело и соответствующее «Я», в лице которого выступает и действует говорящий, хотя его поступки не релевантны выступлению. Для этого «Я» отводится свое место. Вполне нормально поправить себя, если начал неправильно произносить слово. Также нормально прочистить горло или даже выпить воды, при условии, что такие отвлечения осуществляются в промежутках между сегментами речи – за исключением, разве что, данного, поскольку только в текущем промежутке столь незначительное отклонение было бы не отклонением, а некой крайне хитроумной театрализацией, достойной существования лишь в качестве фрейм-аналитической иллюстрации изъянов исполнения. Одним словом, предполагается, что внимание, которое уделяют всем этим маневрам говорящие или слушающие, отвлекается от основного предмета интереса. Такое «Я» должно занимать очень ограниченное место.

Заметьте, то, что определяется здесь как аппаратный и кодировочный шум, должно игнорироваться, и обычно так и происходит. Однако время от времени эти источники вносят

искажения – визуальные и звуковые – которые аудитории сложно обойти вниманием, тем более – когда она обязана прилагать к этому усилия. К тому же, иногда возникает шум, который, по правильному или неправильному ощущению говорящего, аудитория не может легко проигнорировать, либо ей нельзя позволить это сделать. (Последняя ситуация имеет место, например, когда говорящий излагает ошибочный факт, который остался бы незамеченным, если бы докладчик не поправился.) В ответ говорящий может почувствовать желание представить краткое объяснение, извинение или оправдание. Эти исправляющие реплики будут носить открыто вводный характер, иногда откалываясь от основного потока официальной текстовой коммуникации, но все равно оставаясь понятными. Таким образом, существует не только незамечаемый поток событий, но и порой – обособленный поток вербальной коммуникации. И, подобно аппаратным и кодировочным искажениям, реакцией на которые он является, этот поток коммуникации предполагает «Я», претендующее на внимание аудитории, даже если это означает незначительное ущемление других «Я», проецируемых одновременно с ним. В конце концов, аниматор имеет право не только кашлять, но и, в некоторых обстоятельствах, затягивать перерыв, принося извинения за свои действия. Разумеется, тот, кто заменяет автора при чтении (или переводчик), может совершать такого же рода ошибки и, прося за них прощение, проецировать такое же «Я».

Иными словами, докладчики неизбежно занимают структурную позицию, позволяющую им уклоняться от обязанности передавать свои тексты; вместо этого они могут делать замечания об особенностях самого процесса их передачи. Обратите внимание: комментарии по поводу такого рода трудностей, а также исправляющие реплики, возникающие вследствие неспособности их избежать, обычно побуждают использовать местоимения «я» и «мне», но здесь следует быть крайне осторожным, поскольку в данном случае эти термины обозначают индивида, выступающего в роли аниматора, а не индивида, являющегося автором заготовленного текста. Использование тех же самых местоимений, указывающих на одного и того же человека, может легко привести к упущению существенных различий. Когда говорящий произносит: «Извините меня», или «Позвольте мне попробовать еще раз», или «Я думаю, на этом мы закончим с обратной связью», автор этих замечаний – индивид, выступающий в роли аниматора, а не индивид, исполняющий роль автора текста. Человек остался тот же, однако его опора явно изменилась, причем не меньше, чем если бы это был заместитель докладчика, совершивший ошибку и приносящий за нее свои извинения.

Я сказал, что если говорящий чувствует возникновение аппаратных или кодировочных затруднений, он может сделать комментарий по их поводу и по поводу любых физических усилий, которые он предпринимает или не предпринимает для их преодоления. Незначительное изменение опоры, происходящее, когда выступающий перестает передавать свой текст и вместо этого передает открытое описание своего затруднительного положения как аниматора, в большинстве случаев вполне допустимо и чаще всего будет восприниматься обособленно. Но у каждого формата есть свои ограничения. Структурно значимым фактом дружеской беседы является то, что она позволяет совершать множество подобных рефлексивных нарушений фреймов, в то время как принципиальным условием вечерней телетрансляции, напротив, является их крайне малое количество. Чтение лекции находится где-то посередине. Чувствуя нехватку времени, говорящий может изменить голос и сообщить слушателям, что перелистываемые им страницы, – это страницы, которые он только что решил бегло обобщить при помощи неподготовленной речи или вообще пропустить, проецируя при этом весьма душещипательную просьбу воздать ему должное за то, что он мог бы сказать. Разыскивая страницу, которая отсутствует на положенном месте в оригинале, он может перебирать бумаги, одновременно чистосердечно сообщая, что именно этим он сейчас и занимается. Предпринимая поиски книги, отрывок из которой он планировал зачитать, он может пошутить, признавшись, что, как ему хочется надеется, он захватил именно нужный том. Я полагаю, после реального начала представления, попытки искреннего проецирования себя исключительно в роли аниматора вряд ли осуществляются –

по крайней мере, не столь часто, как убеждены говорящие. Тем не менее, это нередко допускается.

## V

Попытаемся теперь свести все воедино. Было сказано, что в определенной перспективе лекция представляет собой средство, при помощи которого автор может передавать текст реципиентам, и (с этой точки зрения) она во многом схожа с любым другим методом передачи, например, с разговорной речью или печатной страницей. Основные различия между существующими методами будут, скорее всего, касаться стоимости, распространения и т. д., то есть ограничений на доступ к сообщению. Но если бы подобная передача была центральным моментом лекции, мы бы имели лишь лекции университетского типа, хотя и для них это вряд ли было бы верно; по всей вероятности, ее можно было бы заменить другими средствами сообщения. В действительности аудитории сохраняют внимание потому, что лекция – это больше, чем передача текста; как было показано, собравшиеся могут осознавать, что выслушивание сообщаемого текста – цена, которую они должны заплатить за то, чтобы услышать говорящего. Они сохраняют внимание – отчасти – из-за чего-то, присущего самому акту говорения во время события передачи текста, из-за того аспекта говорения, который связывает данный текст с данным событием. Понятие шума имеет здесь заведомо очень ограниченное применение. То, что в перспективе текста выступает шумом, на самом деле может быть музыкой взаимодействия – источником удовлетворенности аудитории событием, сутью различия между чтением лекции дома и ее посещением. Позвольте мне рассмотреть два аспекта этого посещения.

Прежде всего доступ. В любой печатной работе писатель различными способами экспонирует себя. Читатели получают информацию об авторе через стиль письма, биографические сведения, принимаемые им допущения, формат публикации и т. д. В книгах обычно помещают краткую биографическую справку об авторе, а иногда даже фотографию на суперобложке. То, что читатели узнают таким образом об авторе, они могут связать с тем, что им уже известно о нем (если подобное знание имеется). Поэтому, приоткрывая доступ и поощряя знакомство с собой, автор вынуждает читателей устанавливать с ним своего рода односторонние социальные отношения.

В случае живой лекции, кроме всех указанных источников доступа (или эквивалентных им), есть множество других. Это особенно очевидно, когда аудитория знакома с говорящим благодаря его публикациям или другим формам деятельности. Как бы слушатели ни воспринимали его раньше, их восприятие модифицируется, когда они получают возможность видеть его во плоти, наблюдать и слушать его в процессе передачи своего текста. Кроме того, сколь бы откровенным и исповедальным ни был написанный текст выступающего, он может легко еще больше усилить данную (или ослабить обратную) характеристику текста при его произнесении, поскольку всегда можно прибегнуть к переключениям и вставочным дополнениям, отсутствующим в тексте. Подобная демонстрация себя будет доступна только членам слушающей аудитории; это нечто гораздо более эксклюзивное, нежели то, с чем обычно имеют дело читатели.

В той мере, в какой говорящий является значительной фигурой в некотором релевантном мире, этот доступ носит ритуальный характер – не в этнологическом, а в дюркгеймовском смысле предоставления молящимся привилегированного права вступить в контакт с ценной для них вещью. Могу добавить, что, получая таким образом доступ к авторитету, аудитория также получает ритуальный доступ к теме, в которой разбирается говорящий. (Самостоятельный доступ – совсем иное дело.) На обеспечении этого доступа строится целый лекционный бизнес. Индивиды, попавшие в поле внимания аудитории СМИ по причине своей причастности к одной из тем новостей, могут стать доступными лично, отправившись в лекционное турне. В данном случае предварительным условием является не авторитет или глубокое владение академической темой, а исключительно причастность.

Содержание подобных выступлений в точности совпадает с изменчивыми интересами публики и столь же разнообразно; общим между разными лекторами являются лишь агенты и бюро, организующие выступления. Это крайне пестрое сборище добропорядочных и не очень людей наполняет жизнью то, что сегодня или вчера привлекло всеобщее внимание; каждая такая знаменитость позволяет аудитории прикоснуться к тому же, к чему прикоснулись он или она, каждая из них продает свою причастность.

Итак, существует аспект доступа. (Чтобы не надоест вам, я опустил анализ его последней формы: небольших дружеских встреч с докладчиком, организуемых попечителями для избранных членов аудитории по окончании лекции.) Второй момент – торжественность события. Разница между текстом как таковым и его вербальным сообщением не только в том, что последнее создает ощущение привилегированного доступа к говорящему, но и в том, что оно усиливает уникальность, сиюминутность, неповторимость события, в ходе которого осуществляется данное сообщение. Связывая себя подобным образом с текущим событием, мобилизуя свои ресурсы для участия в нем, говорящий «отдается» другим участникам.

Теперь было бы неплохо более подробно остановиться на способе, посредством которого печатный текст, доступный любому компетентному читателю, может превращаться в речь, откликающуюся на локальную ситуацию ее произнесения. Рассмотрим несколько приемов «контекстуализации».

Во-первых, существует молчаливое, всячески поддерживаемое предположение, что сообщаемое аудитории было сформулировано специально для собравшихся и ради данного события. Косвенным знаком этого является отсылка к теме – с ее помощью говорящий показывает, что, по крайней мере, одно из его утверждений полностью соотносится с конкретной обстановкой, в которой происходит выступление. (Прием странствующих актеров, предвосхищающий, по-видимому, даже поездки Боба Хоупа по военным лагерям.) Подобные тематические отсылки особенно характерны для вводной части.

Однако есть менее очевидные приемы создания эффекта отклика. Когда лекция читается при помощи неподготовленной речи или имитации неподготовленной речи, отклик на текущую обстановку кажется очевидным. Это делает возможным использование иного рода знаков. Как указывалось, скобочные комментарии и вводные замечания, сообщаемые посредством неподготовленной речи, могут использоваться для придания оттенка неподготовленности всему исходному тексту. (В случае если эти замечания на самом деле не являются неподготовленными, неподготовленная речь легко симулируется с помощью заученных наизусть фрагментов, поскольку нужны лишь короткие отрывки.)

Другой стандартный метод симуляции, используемый при чтении вслух, – пробежать глазами небольшой отрывок, а затем, глядя на аудиторию, воспроизводить то, что только что было быстро просмотрено.

Далее, есть эффект «сверхгладкого» выступления. Как указывалось, разговорная речь полна небольших заминок – заиканий, повторов, возобновлений, – на которые говорящий и слушатели редко ориентируются; эти мелкие осложнения попросту игнорируются. С другой стороны, как раз такие незначительные заминки становятся заметны при чтении вслух, грубо напоминая нам о том, что мы являемся свидетелями именно чтения вслух. Парадоксально, но читая вслух без этих привычных искажений, мы можем создать впечатление, будто имеет место нечто большее, чем просто чтение вслух, нечто более близкое к неподготовленной речи. (Добавлю: сверхтекучесть существенна для производства иллюзии неподготовленной речи телеведущими.)

Наконец, рассмотрим эффект «высокого стиля», даже если он возникает при простом зачитывании обращения. Изящество слога – фразеологические обороты, метафоры, аналогии, афоризмы – может рассматриваться в качестве свидетельства не только интеллекта говорящего (а получение к нему доступа, судя по всему, представляет некоторую ценность), но и его стремления и умения делать ту работу, которой он в данный момент занят. Именно «экспрессивное» письмо позволяет потребителю текста ощутить, что его производитель

полностью вложил душу в данное конкретное событие коммуникации. Применение всех этих приемов локализации и индексализации текста является стилистической особенностью или признаком устного дискурса. Характеристики «хорошего» письма систематически отличаются от характеристик «хорошей» речи, и степень использования лектором нормативных устных форм определяет силу производимого им впечатления вовлеченности в речевое действие. Некоторые различия между письменной и устной прозой таковы:

1. В целом писатели могут использовать редакторские инструкции, журнальные правила оформления статей и университетские учебники по стилистике в качестве руководства относительно того, что будет и что не будет двусмысленным, как если бы читатель был обязан применять эти стандарты наравне с писателем. Читатели принимают на себя ответственность за повторное прочтение отрывка с целью выявления его смысла и готовы мириться с большими трудностями, нежели «грамматические ошибки». И, разумеется, читатели могут перечитать отрывок, в то время как слушатели не могут еще раз прослушать высказывание – разве что с помощью аудиозаписи. Кроме того, письмо позволяет снять двусмысленность тех фраз, которые в устной речи были бы омонимичными. Читателю также помогают знаки пунктуации, обладающие фиксированным набором значений (заметьте, большинство этих знаков имеют лишь очень приблизительные, неоднозначные соответствия в звуках). Вследствие этого предложение, окончание которого отстоит очень далеко от начала, гораздо легче поддается эффективному использованию на печати, чем в речи. Словом, для построения речи может потребоваться переделка клауз в предложении. Однако в качестве компенсации допускаются сокращения и пропуски, а также различные формы «смещения влево» и дейктические термины.

2. Принятые способы компоновки печатного текста обеспечивают связность так, как это невозможно в случае устного выступления. В речи нет абзацных отступов или заголовков разделов. Сноски в печатных текстах позволяют совершать резкие тематические скачки и поэтому могут содержать выражения благодарности, научные комментарии и параллелизмы. (Например, сейчас, когда я занят говорением, мне было бы трудно заявить, что устная проза, по сути, очень сильно отличается от того, что происходит в естественном разговоре, процитировав при этом работу Дэвида Аберкромби «Исследования по фонетике и лингвистике», однако на печати это было бы легко и просто сделать с помощью сноски.)

3. Обычно свобода, которая допускается при обращении к слушателям, невозможна при обращении к читателям. Говорящий безошибочно чувствует, что некоторые разговорные выражения, непочтительные высказывания и т. п., которые он может употреблять, выступая перед данной аудиторией, он опустил бы в печатном тексте. Выступая, он осознает, что ему позволительно преувеличивать, говорить безапелляционно, высказывать явно не совсем достоверные вещи и пренебрегать подтверждениями. Он может использовать обороты речи, которые посчитал бы неудобными в публикации, поскольку в данной ситуации он может положиться на людей, которые, как ему кажется, улавливают дух, а не просто букву его суждений. Он также может прибегать к сарказму, фразам вполголоса и другим грубым приемам, которые позволяют ему и его аудитории вступать в своего рода тайный сговор против отсутствующих фигур, иногда сопровождающийся эффектом «вызванного смеха» (добившись которого он может продолжить раззадоривать аудиторию) – чего автор печатного текста не способен в полной мере добиться от читателя. Кроме того, говорящий может прервать свое высказывание практически в любом месте и, посредством различной модуляции голоса, вставить что-нибудь вопиюще нерелевантное.

Должен лишь добавить, что при подготовке текста к устному сообщению автор может попытаться писать устной прозой и для него это будет наилучший выход. Иногда лекторы читают главу из книги или статью, подготовленную к публикации, но не могут удержать внимание аудитории – по крайней мере, при современных сценических исполнениях. Эффективный лектор всегда пишет зачитываемый текст в разговорном жанре; он заранее связывает себя лентой печатной машинки с будущей аудиторией.

Написать текст устной прозой и «экспертно» прочитать его – значит создать ощущение того, что имеет место нечто вроде неподготовленной речи. Но иллюзии всегда уязвимы. Просодическое оформление, придаваемое клаузе, реплике и короткому предложению человеком, который говорит без подготовки, тесно связано с его пониманием общей тенденции, а возможно, и тематического развития дальнейшей аргументации. Поэтому, даже если он неправильно произнесет или пропустит слово, он все равно продолжит двигаться в верном направлении. Худшее, что может произойти, – если его остановят сразу же, как только он упустит нужное слово или потеряет основную нить текущего высказывания. Однако при чтении вслух говорящий склонен следовать конкретной синтаксической интерпретации (и тем самым просодической пунктуации) текущей фразы, обращаясь главным образом к непосредственно наблюдаемой следующей строчке текста. Смысл, соотносящийся с более полным фрагментом его оригинала, – смысл, который обязательно должен возникнуть, – немного дает говорящему для понимания того, что он сейчас произносит. Простая ошибка в восприятии слова или знака препинания может привести говорящего к радикально неверно истолкованному чтению вслух дальнейшего фрагмента текста. Последующая – обязательная – коррекция зачитанного покажет, что говорящий все время создавал ложное впечатление посвященности в те мысли, которые содержались в его высказываниях. Как все вы знаете, это может несколько смутить.

## VI

Теперь позвольте мне еще раз остановиться на том, с чем именно говорящий поднимается на кафедру. Конечно, у него есть текст. Но каковы бы ни были подлинны достоинства текста, они доступны и читателям печатной версии – равно как и репутация автора. Помимо всего этого лектор предоставляет слушателям дополнительный доступ к нему самому, а также возможность приобщиться к данному конкретному событию. Он демонстрирует себя перед аудиторией. Он выступает по определенному поводу. И в том и в другом случае он отдается ситуации. И эта ритуальная работа совершается под предлогом сообщения текста. Ни у кого не возникает ощущения, что ритуал стал самоцелью. Как манифестируемое содержание сновидения позволяет снять остроту его латентного смысла, так и передача текста делает возможным совершение ритуального исполнения.

Своей видимой ученостью и связным выступлением говорящий-автор демонстрирует, что его притязания на авторитет, обусловленные его положением, репутацией и строителями, обоснованны. За счет этого между институциональным статусом, репутацией и текущим событием устанавливается связь. На фоне обоснованных притязаний вводные «виньетки» дают аудитории пример того, каким образом подобный авторитет можно изящно «носить». Дистанция, навязываемая статусом, здесь сокращается; уважение, которого требует авторитет, скромно отклоняется. Говорящий-автор показывает, что хотя внешне он претендует на восприятие себя как необыкновенного человека и имеет некоторые демонстрируемые в данный момент основания для этого, он все же предпочитает не поддаваться блеску своих качеств. Он решает презентовать себя как одного из участников текущего собрания, ничем не отличающегося от вас или меня. Тем самым он предоставляет не только косвенный доступ к самому себе, но и модель отношения к себе, дающую ему право претендовать на определенное положение (а также – модель поведения в непредвиденных обстоятельствах, возникающих по ходу исполнения). По многим причинам это моделирование может быть наиболее важным действием, совершаемым говорящим, – действием, сближающим его, обратите внимание, с телевизионными персонажами, предоставляющими такого же рода модель, но для более широкой публики. (Мне бы очень хотелось, чтобы схожий авторитет существовал в поле взаимодействия лицом к лицу и чтобы я, обладая им, мог проявлять свою непритязательность. Пока же то, с чем я могу обходиться сдержанно и небрежно, увы, не заслуживает подобного обращения.)

Итак, выступающий с речью может сливаться с событием благодаря тому, что он, как говорящий, спонтанно (или как будто спонтанно) украшает свой текст, используя его в качестве основы для ситуационно обусловленного сообщения, смешивая живое и читаемое. Вследствие определенного самоотношения он способен поведать о своем предмете что-то, в чем его слушатели, по их ощущению, способны разобраться. (Не говоря уже о том, что ему потребуется нечто большее, нежели добавление серьезности в голосе для мягкого отстранения от случайных вводных пассажей.)

Но в основе этого должно лежать более глубокое понимание – понимание соответствия основным требованиям, предъявляемым обществом к исполнителю. Все, что аудитория будет считать в оцениваемом лекторе проявлением интеллекта, остроумия и шарма, все, что аудитория будет приписывать ему в качестве неотъемлемых черт его характера, – все это появляется в результате предпринимаемых им действий по эффективному «вручению» себя событию и, следовательно, его участникам, раскрытию себя перед ними, рассмотрению остальной части себя как требующей подчинения данной цели. Говорящему, который хотел бы предстать перед аудиторией в свете собственного благородства, можно посоветовать отстраниться от своей темы и от соответствующего текстуального «Я», продемонстрировать, что он пожертвовал и тем и другим ради аудитории. Аниматор приглашает аудиторию отнестись подобным образом и к самому тексту – делая это приглашение в той задушевной и дружеской манере, в которой он говорит о своем материале. И вот уже члены его аудитории охотно соглашаются занять такую же позицию в отношении его текста, поскольку она дает ключ к миру этого текста, одновременно показывая, что людям вроде них полностью по плечу задача вынесения оценки, и что сами они недооцениваются. Разумеется, такое отношение к тексту вполне достойно уважения, потому что говорящий сам смоделировал его. Следовательно, выступающий с речью обязан быть собственным посредником, разделяя себя-как-аниматора, способного говорить, и голос аудитории, хотя последней позволено иметь лишь рудиментарный голос. (По сути, единственное, что реально понятно (не говоря уже, интересно) некоторым членам аудитории, – это именно данная позиция, которая была занята от их лица в отношении сообщаемого.) Повторюсь, дело не только в том, что попутные комментарии говорящего делаются в зависимости от текущего контекста; то «Я», которое произносит эти комментарии, тоже должно создаваться в зависимости от контекста.

Теперь мы можем прояснить базовую черту всех взаимодействий лицом к лицу, а именно, способ проникновения более широкого мира структур и позиций в эти события. Заранее подготовленный текст (и подразумеваемое им «Я» автора), с которым говорящий выходит на возвышение, в чем-то напоминает другие внешние обстоятельства, заявляющие о себе в той или иной локальной ситуации: возраст, пол и социально-экономический статус, с которыми собеседник приходит на дружескую встречу; академические и служебные заслуги, с которыми профессионал приходит на собеседование с клиентами; принадлежность к корпорации, с которой ее представитель приходит на переговоры. Во всех этих случаях существует проблема трансляции. Укорененные вовне аспекты, вид и форма которых не имеют ничего общего с взаимодействием лицом к лицу, должны идентифицироваться и обозначаться с помощью тех компонентов, которые доступны в локальных обстоятельствах. Внешнее должно быть совмещено с внутренним, каким-то образом увязано, чтобы его можно было систематически игнорировать. И как дипломатический протокол является средством трансформации, применяющимся для отражения официальной позиции на торжественных событиях, как обиходная вежливость является формулой, позволяющей высказывать уважение возрасту, полу и должности в ходе кратковременных социальных контактов, так и, на более глубоком уровне, речевая личность автора связывает его текст и его статус с процессом произнесения речи. Заметьте, никто не может предоставить подходящее для данной ситуации истолкование индивида лучше его самого. Если в отношении него или того, с чем он идентифицируется, и позволительны вольности, то он

единственный имеет право безнаказанно их совершать. Если туфли жмут, то лучше всего их разносит тот, кому в них ходить.

Таким образом, индивид, подготовивший лекцию, фабрикует «Я», подходящее для выступления перед данной аудиторией. Он осуществляет эту интерпретацию себя за кафедрой. Он может построить модель управления собой и для взаимодействия в целом. Разумеется, любой сценический исполнитель напомнил бы вам: хотя он обязан отдаваться подобным образом аудитории, он не должен отдавать себя каждому из присутствующих – как ему следовало бы поступить в случае персональной коммуникации, – хотя, нужно заметить, если по окончании выступления он получит лишь скромные знаки внимания, ему будет сложно удержаться от персонального возмездия. И в обмен на свою комическую песню и танец, в обмен на ограниченное пределами сцены осуществление достижимости, в обмен на иллюзию личного доступа – в обмен на это он получает уважение, внимание, аплодисменты и гонорар. За что я вас и благодарю.

Но это еще не конец, леди и джентльмены. Есть те, кому подавай самый последний аргумент.

Текст позволяет говорящему скрывать ритуалы исполнения. Согласен. Но можно сказать, что эти махинации приносят ему и его аудитории более существенную пользу, нежели описано выше. Исполнение побуждает аудиторию и говорящего рассматривать лекцию, а также ее предмет в качестве серьезных, реальных вещей, даже если выступление призвано, наоборот, только позабавить.

И лектор и аудитория разделяют одно общее допущение. Они сообща верят, что организованная речь способна отражать, выражать, очерчивать, раскрывать – или даже воссоздавать – реальный мир и что, наконец, реальный, структурированный, в чем-то единый мир, доступный пониманию, существует. (В конечном итоге, именно это отличает лекции от тех сценических представлений, которые откровенно служат развлечению.) Именно в этом заключаются реальные обязательства лектора. Какова бы ни была область его интересов, к какой бы научной школе он ни принадлежал, будь он набожным или безбожником, он подписывает только один договор и служит только одному делу: защищать нас от пустопорожных слов, являться перед нами, всерьез полагая, что его лекция может передать осмысленный образ определенной части мира и что говорящий может иметь доступ к образу, достойному передачи.

В этом смысле любой лектор, уже в силу того, что он осмеливается прочесть лекцию перед аудиторией, является сотрудником ведомства знаний, активно придерживающимся лишь одной позиции, которая, повторюсь, такова: мир имеет структуру, и эту структуру можно воспринимать и описывать словами, поэтому выступление перед аудиторией и выслушивание лектора – разумные действия, и их обеспечение лишь по чистой случайности было доверено устроителям, сделавшим все это возможным. Даже когда говорящий негласно претендует на то, что только *его* научная дисциплина, *его* методология или *его* данные могут дать верную картину, за этой негласной претензией скрывается другая негласная претензия – утверждение самой возможности существования таких верных картин.

Безусловно, некоторые публичные лекторы выбиваются из общего стада, но они, конечно же, утрачивают возможность читать лекции – хотя, вероятно, им могут быть доступны другие формы работы на сцене. Остающиеся говорить должны в своей речи претендовать на определенный интеллектуальный авторитет, но сколь бы обоснованной или необоснованной ни была их претензия на специализированный авторитет, их слова предполагают и подтверждают идею интеллектуального авторитета в целом: то, что посредством высказываний лектора мы можем узнать кое-что о мире. Задумайтесь: быть может, это всеми разделяемое допущение – не более чем допущение и после выступления говорящий и аудитория вновь погружаются, как оно и должно быть, в шаткий, противоречивый, беспорядочный сумбур своих непостижимых обстоятельств.

ЛИТЕРАТУРА

Bauman R. 1975. Verbal art as performance. *American Anthropologist*, 77(2): 290–311.

Frake Ch. O. 1977. Plying frames can be dangerous: Some reflections on methodology in cognitive anthropology. *Quarterly Newsletter of the Institute for Comparative Human Development*, 1(3): 1–15.

Hymes D. 1975. Breakthrough into performance. In: *Folklore: Communication and performance*, edited by Dan Ben-Amos and Kenneth Goldstein, pp. 9–74. The Hague: Mouton.

Перевод с английского А. В. Царевой и А. М. Корбута  
Под редакцией Виктора Вахштайна

*Карл Шмитт*

## Разговор о власти и о доступе к властителю\*

*Вы счастливы?  
Мы могучи!*

**Лорд Байрон**

### Участники разговора:

**М.** (молодой человек, задает вопросы)

**К. Ш.** (отвечает)

Интермеццо (на с. 32) может читаться третьим лицом

**М.** Прежде чем мы поговорим о власти, я должен спросить Вас кое о чем.

**К. Ш.** Пожалуйста, господин М.

**М.** У Вас есть власть или нет?

**К. Ш.** Хороший вопрос! Кто говорит о власти, тот пусть скажет сначала, в каком положении относительно власти находится он сам.

**М.** Итак, есть у Вас власть или нет?

**К. Ш.** У меня нет власти. Я отношусь к тем, кто безвластен.

**М.** Это подозрительно.

**К. Ш.** Почему?

**М.** Потому что тогда Вы, наверное, предубеждены *против* власти. Раздражение, озлобленность, рессентимент – вот обычные источники ошибок.

**К. Ш.** А если бы я относился к тем, у кого есть власть?

**М.** Тогда Вы, наверное, были бы расположены *в пользу* власти. Заинтересованность в том, чтобы иметь власть и утверждать свою власть, – тоже источник ошибок.

**К. Ш.** Кто же тогда вообще вправе говорить о власти?

**М.** Об этом должны были бы мне сказать *Вы!*

**К. Ш.** Я бы сказал так: быть может, есть еще одна позиция, позиция бескорыстного наблюдения и описания.

**М.** Видимо это – роль Третьего человека или свободно парящей интеллигенции<sup>1</sup>?

---

\* Carl Schmitt. Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber. Pfullingen: Neske, 1954.

© Филиппов А.Ф., 2007.

© Центр фундаментальной социологии, 2007.

<sup>1</sup> Полемиическая отсылка к Альфреду Веберу и Карлу Мангейму.

**К. Ш.** Интеллигенция – не интеллигенция... Давайте не будем начинать с таких обобщений. Лучше попробуем сначала правильно увидеть историческое явление, всеми нами переживаемое и претерпеваемое. А результат себя покажет.

1.

**М.** Итак, мы говорим о власти, какую имеют люди над людьми. Но откуда же берётся та чудовищная власть, которой располагали над миллионами других людей, например, Сталин или Рузвельт, да назовите кого угодно?

**К. Ш.** Раньше на этот вопрос ответили бы так: власть происходит либо от природы, либо от Бога.

**М.** Боюсь, что сегодня нам уже не кажется, что власть имеет природное происхождение.

**К. Ш.** Да и я так думаю. Сегодня мы чувствуем свое превосходство по отношению к *природе*. Мы ее больше не боимся. А если она, как болезнь или природная катастрофа, становится нам неприятной, надеемся в скором времени ее победить. Человек – существо, по природе, слабое – властно возвысился над природой при помощи техники. Он сделал себя господином природы и всех земных существ. Граница (ы) которую ему в прежние времена чувствительно полагала природа, – будь то холод и жара, голод и лишения, дикие звери и опасности всякого рода, – эта природная грань явственно отступает от него.

**М.** Это правда. Нам уже не приходится бояться диких зверей.

**К. Ш.** Подвиги Геракла представляются нам довольно скромными, и если сегодня лев или волк забредут в современный большой город, это будет в крайнем случае затруднением для дорожного движения и не напугает даже ребенка. Человек до такой степени чувствует свое превосходство над природой, что даже позволяет себе создавать природоохранные парки.

**М.** А как обстоит дело с Богом?

**К. Ш.** Что касается *Бога*, то современный человек – я имею в виду типичного горожанина – точно так же чувствует, что Бог отступает или удаляется от нас. Сегодня при упоминании имени Бога человек с обычным образованием автоматически цитирует Ницше: «Бог мертв». Ну, а другие, те, кто лучше информирован, цитируют французского социалиста Прудона, еще за сорок лет до Ницше утверждавшего: «кто говорит о Боге, тот хочет обмануть».

**М.** Но если власть не происходит ни от природы, ни от Бога, то от кого же тогда?

**К. Ш.** Тогда остается, пожалуй, лишь одно: власть человека над другими людьми происходит от самого человека.

**М.** Вот и славно. Все мы – люди. И Сталин был человеком, и Рузвельт, назовите, кого угодно.

**К. Ш.** Это звучит действительно успокаивающе. Если власть одного человека над другими происходит от природы, тогда это либо власть родителя над своим выводком, либо – превосходство зубов, рогов, когтей, лап, ядовитых желез и другого естественного оружия. От власти родителя над выводком мы здесь, пожалуй, можем отвлечься. Тогда остается власть волка над ягненком. Человек, у которого есть власть, будет волком по отношению к человеку, у которого власти нет. У кого нет власти, чувствует себя как ягненок, пока сам не окажется в состоянии обладать властью и принять на себя роль волка. Говоря по латыни, *homo homini lupus*. По-русски – человек человеку волк.

**М.** Ужасно! А если власть происходит от Бога?

**К. Ш.** Тогда тот, кто ее осуществляет, – носитель божественного качества; он свою власть принимает в себя нечто божественное, и следовало бы почитать если не его самого, то хотя бы являемую в нем власть. Говоря по латыни, *homo homini Deus* – человек человеку Бог.

**М.** Ну, это уж чересчур!

**К. Ш.** Но если власть не происходит ни от природы, ни от Бога, тогда все, что относится к власти и ее исполнению, происходит лишь между людьми. Тогда мы, люди, суть всецело лишь промеж собою. И обладатели власти в отношении к безвластным, и могучие в отношении к бессильным суть целиком и полностью лишь люди в отношении людей.

**М.** Тогда вот так: Человек человеку человек.

**К. Ш.** А по латыни – *homo homini homo*<sup>2</sup>.

## 2.

**М.** Ясно. Человек человеку – человек. Лишь потому, что находятся люди, которые повинуются другому человеку, они наделяют этого последнего властью. Если же они ему более не повинуются, власть прекращается сама собою.

**К. Ш.** Совершенно верно. Но почему они подчиняются? Ведь подчинение не произвольно, оно как-то мотивировано. Почему же люди соглашаются на власть [другого]? В одних случаях основанием тому служит доверие, в других – страх, иногда – надежда, порой – отчаяние. Но они всегда нуждаются в защите и защиты этой ищут у власти. Если идти от человека, связь защиты и повиновения остается единственным объяснением власти. Кто не имеет власти защитить кого-либо, не имеет также права требовать от него повиновения. И наоборот: кто ищет защиты и принимает защиту, тот не имеет права отказаться от повиновения.

**М.** Но если властитель прикажет нечто противоправное? Тогда ведь надо, пожалуй, отказаться от повиновения?

**К. Ш.** Разумеется! Однако я говорю не об отдельных противоправных приказах, но о некотором общем положении, когда обладатели власти и подвластные сопряжены в политическое единство. Здесь дело обстоит так, что тот, у кого власть, может непрерывно создавать действенные и отнюдь не всегда неморальные мотивы для подчинения: через гарантии защиты и безопасности существования, через воспитание и солидарные интересы по отношению к другим. Короче говоря, консенсус обеспечивает власть, это верно, но и власть обеспечивает консенсус, причем отнюдь не во всех случаях – консенсус неразумный или неморальный.

**М.** Что Вы этим хотите сказать?

**К. Ш.** Этим я хочу сказать, что власть, даже там, где она исполняется с полного согласия всех подвластных, имеет еще некое собственное значение, так сказать, «прибавочную ценность»<sup>3</sup>. Она есть нечто большее, чем сумма всех получаемых ею согласий, а также больше, чем их продукт. Подумайте только, сколь плотно в современном обществе, основанном на разделении труда, человек вплетен в социальные связи. Выше мы говорили, что природные границы отступают от него, но тем ближе и сильнее подступают к нему границы социальные. Оттого и мотивация соглашаться на власть становится все сильнее.

---

<sup>2</sup> В «Номосе Земли» Шмитт говорит, что у выражения «*homo hominis lupus*» долгая история. Он ссылается на испанского богослова Ф. де Витория, отвергавшего эту старую формулу, появляющуюся уже у Овидия и Плавта. Формулу «*homo homini Deus*», восходящую к «Естественной истории» Плиния, Витория тоже оспаривал, выдвигая свой собственный аргумент: «*homo homini homo*». Именно рассуждения Витория стали в этой части, судя по всему, одним из главных источников теоретического вдохновения Шмитта.

<sup>3</sup> Mehrwert. По-русски этот термин в переводах трудов К. Маркса передается как «прибавочная стоимость».

Современный властитель имеет неизмеримо больше средств обеспечить консенсус в отношении своей власти, нежели Карл Великий или Барбаросса.

3.

**М.** Вы тем самым хотите сказать, что властитель в наши дни может делать, что хочет?

**К. Ш.** Отнюдь нет. Я только хочу сказать, что власть – это вполне самостоятельная величина, в том числе и по отношению к консенсусу, который ее создал. А теперь я хотел бы Вам показать, что она такова и по отношению к самому властителю. Власть есть объективная, самозаконная величина по отношению к каждому действующему индивиду, у которого она в руках.

**М.** Что значит здесь «объективная, самозаконная величина»?

**К. Ш.** Нечто вполне конкретное. Уясните себе, что даже самый ужасающий властитель все равно ограничен человеческой природой (Physis), недостаточностью человеческого рассудка и слабостью человеческой души<sup>4</sup>. Даже самый могущественный человек должен, как и все мы, есть и пить. Он станет больным и старым.

**М.** Но современная наука доставляет удивительные средства, чтобы преодолеть границы человеческой природы (Natur).

**К. Ш.** Конечно. Властитель может затребовать к себе самых знаменитых докторов и нобелевских лауреатов. Он может получить больше инъекций, чем кто-либо другой. И все же: предавшись трудам или порокам, через нескольких часов он утомляется и засыпает. Ужасный Каракалла, могучий Чингисхан лежит, словно малое дитя, да еще, быть может, и посапывает.

**М.** Вот какой образ всегда должен стоять перед глазами любого властителя!

**К. Ш.** Точно, и его часто и охотно живописали философы и моралисты, педагоги и риторы. Мы же не станем на этом задерживаться. Хочу только упомянуть, что англичанин Томас Гоббс, и по сей день самый современный из всех философов чисто человеческой власти, в конструкции государства исходит из этой всеобщей слабости каждого человеческого индивида. Конструкция Гоббса такова. Из слабости рождается угроза, из угрозы – страх, из страха – потребность в гарантиях безопасности, а уже отсюда – необходимость аппарата защиты с более или менее сложной организацией. Но, несмотря на все меры защиты, говорит Гоббс, в определенный момент каждый может убить каждого, слабый человек может оказаться в состоянии покончить с самым сильным и могущественным. В этом пункте люди действительно равны между собой, поскольку всем им угрожает опасность.

**М.** Слабое утешение.

**К. Ш.** Я, собственно, никого не хотел ни утешить, ни напугать, но собирался лишь дать объективную картину человеческой власти. Физическая угроза – это лишь самое грубое и даже не самое повседневное. Каждый человеческий индивид зажат в тесные рамки, и это дает еще один результат, рассмотрение которого тем более пригодно для демонстрации самого главного в нашей теме, а именно, объективной самозаконности всякой власти по отношению к самому властителю и неумолимой диалектики власти и безвластия, на которую обречен каждый человеческий властитель.

**М.** Что-то я не пойму, при чем здесь диалектика.

---

<sup>4</sup> Отчетливая переключка с антропологией А. Гелена, только Гелен говорит о недостаточности (Mangelhaftigkeit) человека как об изначальном отсутствии в самой его конституции некоторых составляющих, необходимых для выживания живого существа в мире. Шмитт говорит о недостаточности (Unzulänglichkeit) как о нехватке ресурсов, которые со временем исчерпываются.

**К. Ш.** Увидим! Человеческий индивид, в руках которого на мгновение оказываются великие политические решения, может образовать свою волю лишь при данных предпосылках и данными средствами. Даже самый абсолютный монарх вынужден опираться на сообщения и донесения и зависит от своих советников. Несчетное множество известий и фактов, предложений и предположений наваливается на него день за днем, час за часом. Из этого бесконечного бушующего моря истины и лжи, действительного и возможного даже самый умный и могущественный человек может набрать в лучшем случае лишь несколько капель.

**М.** Здесь действительно можно видеть блеск и нищету абсолютного монарха.

**К. Ш.** Прежде всего, здесь можно увидеть внутреннюю диалектику человеческой власти. Кто докладывает властителю или сообщает ему информацию, тот уже имеет свою долю власти, все равно, будь он министр, уполномоченный визировать [документы], или же некто, умеющий косвенным образом склонить к себе слух властителя. Довольно того, что он сообщает впечатления и мотивы тому человеческому индивиду, в руках которого на мгновение оказывается решение. Так всякая прямая власть сразу же подвергает себя непрямым влияниям. Властители, которые чувствовали эту зависимость и впадали от этого в гнев и ярость, затем пытались получить информацию не у своих постоянных советчиков, а как-нибудь иначе.

**М.** Это оправдано, если принять во внимание коррупцию при дворах.

**К. Ш.** Конечно. Но, к сожалению, они тем самым только попадали в новые зависимости, часто гротескные. В конце концов Калиф Гарун аль Рашид, переодевшись простолюдином, заходил по ночам в харчевни Багдада, чтобы все-таки дознаться чистой правды. Я не знаю, что он выведал и чем напился из этого сомнительного источника. Фридрих Великий в старости стал настолько недоверчивым, что откровенно говорил лишь со своим камердинером Фредерсдорфом. Благодаря чему камердинер стал влиятельным человеком, впрочем, оставаясь верным и преданным.

**М.** Иные властители предпочитают шофера или любовницу.

**К. Ш.** Иначе говоря, есть пространство прямой власти. И есть образующееся вокруг него предпространство косвенных влияний и сил, «доступ к уху», «коридор, ведущий к душе властителя». Не бывает человеческой власти без такого предпространства и такого «коридора»<sup>5</sup>.

**М.** Однако же разумными учреждениями и конституционными определениями можно воспрепятствовать множественным злоупотреблениям.

**К. Ш.** Это можно делать и это должно делать. Но даже самый мудрый институт, самая хорошо продуманная организация не смогут полностью искоренить это предпространство, никакой приступ ярости против *camarilla* или *antichambre*<sup>6</sup> не смогут устранить его окончательно. Самое предпространство обойти не удастся.

**М.** Мне оно кажется скорее «черным ходом».

**К. Ш.** *Antichambre*, черный ход, пространство вокруг, пространство ниже – существо дела очевидно и остается одним и тем же для диалектики человеческой власти. В любом случае в ходе мировой истории в этом предпространстве власти составлялось пестрое и смешанное общество. Здесь собираются «косвенные». Здесь мы встречаем министров и послов в

<sup>5</sup> Шмитт использует термины, которые мы в переводе могли сохранить лишь в прямом, философски наиболее внятном значении: «пространство» и «предпространство». Однако здесь есть и второй смысл. «Raum» по-немецки может означать просто «комната», «помещение», а «Vorraum» – это «предбанник». Таким образом, картина власти приобретает вполне осязаемый вид: есть помещение начальника, есть место, где толпятся его секретари и помощники, отсюда и метафора «коридора»: коридоры власти выглядят как коридоры, идущие к слуху и душе.

<sup>6</sup> Камарилья (исп.); передняя, прихожая (фр.).

роскошных мундирах, но также духовников и личных врачей, адъютантов и секретарш, камердинеров и любовниц. Здесь старый Фредерсдорф, камердинер Фридриха Великого, стоит подле благородной императрицы Августы, Распутин – рядом с кардиналом Ришелье, а серый кардинал – с какой-нибудь Мессалиной. Иногда в этом предпространстве находятся разумные и мудрые мужи, иногда – выдающиеся менеджеры или верные мажордомы, порой – глупые карьеристы и шарлатаны. Вдруг предпространство оказывается действительно официальной государственной палатой, в которой для доклада собираются достойные господа в ожидании, когда их пропустят дальше. Но частенько – это не более чем приватный кабинет.

**М.** Или даже больничная палата, в которой несколько друзей сидят у постели паралитика и управляют миром.

**К. Ш.** Чем больше власть концентрируется в определенном месте, у определенного человека или группы людей как на верхушке, тем больше обостряется проблема «коридора» и доступа к этой верхушке. И тем яростнее, отчаяннее и молчаливее становится тогда борьба меж теми, кто оккупировал предпространство и контролирует «коридор». Эта борьба в тумане не прямых влияний столь же неизбежна, сколь и сущностна для любой человеческой власти. В ней совершается внутренняя диалектика человеческой власти.

**М.** Но разве все это – не одни только извращения режима личной власти?

**К. Ш.** Нет. Процесс образования коридора, о котором мы тут говорим, совершается ежедневно, минимальными, бесконечно-малыми начинаниями, повсюду, где люди исполняют власть над другими людьми, будь то в великом или малом. В той же мере, в какой смыкается пространство власти, организуется и предпространство этой власти. Каждое усиление прямой власти сгущает и уплотняет марево (Dunstkreis) не прямых влияний.

**М.** Может быть даже и хорошо, когда с властителем что-то неладно. Я пока не разберусь, что тут лучше, прямая власть или косвенная.

**К. Ш.** Косвенное я рассматриваю здесь только как стадию неизбежного диалектического развития человеческой власти. Сам властитель становится тем более изолированным, чем больше прямая власть концентрируется в его индивидуальном лице. «Коридор» словно бы отрывает его от почвы и возносит в стратосферу, где для него достижимы теперь только те, кто косвенным образом господствует над ним, тогда как все прочие люди, над которыми он исполняет власть, для него уже не достижимы, и он для них более недостижим. В крайних случаях это приобретает явно гротескный характер. Но таково лишь предельное выражение изоляции властителя, осуществляемое неизбежным аппаратом власти. Эта внутренняя логика осуществляется через бесчисленное множество начинаний повседневной жизни, в постоянном преобразовании прямой власти и непрямого влияния. Нет такой человеческой власти, которая бы избежала этой диалектики самоутверждения и самоочуждения<sup>7</sup>.

## ИНТЕРМЕЦЦО: БИСМАРК И МАРКИЗ ПОЗА

*Борьба вокруг «коридора», вокруг доступа к верхушке власти является особо интенсивной борьбой за власть, через которую совершается внутренняя диалектика человеческой власти и безвластия. Это обстоятельство мы должны уяснить себе в его исторической действительности прежде всего без риторики и сентиментальности, но и без цинизма и нигилизма. Поэтому я бы хотел продемонстрировать проблему еще на двух примерах.*

<sup>7</sup> Следует обратить внимание на любопытный термин «самоочуждение» («Selbstverfremdung»). Речь идет, как видно, не об *отчуждении* (Entfremdung), но о том знаменитом «остраннении» – «остранении» – «очуждении», которое было предметом дискуссий еще в 20-е гг., а в 50-е стало широко известным благодаря теоретическим работам Б. Брехта.

Первый пример – это документ, относящийся к истории конституций – прошение об отставке, поданное Бисмарком в марте 1890 г. Оно опубликовано и подробно рассматривается в третьем томе «Мыслей и воспоминаний» Бисмарка. Этот документ во всем – в структуре, в ходе рассуждений, в тональности, в том, что в нем высказано, и в том, о чем он умалчивает, – представляет собой хорошо продуманное творение великого мастера государственного искусства. Подача прошения была последним официальным поступком Бисмарка, оно вполне сознательно спланировано и стилизовано в качестве документа, предназначенного для потомков. Старый опытный рейхсканцлер, творец рейха, вступает в спор с неопытным наследником, молодым королем и кайзером Вильгельмом II. Между ними было много деловых противоречий и расхождений во мнениях по вопросам внутренней и внешней политики. Но сердцевина прошения об отставке, его основной пункт есть нечто сугубо формальное: спор по вопросу о том, каким образом дозволительно получать информацию канцлеру и как должно получать ее королю и кайзеру. Бисмарк притязает здесь на полную свободу для себя в том, с кем он вправе беседовать и кого принимать в своем доме в качестве гостя. Однако за королем и кайзером он отрицает право заслушивать доклад какого-либо министра, если при этом не присутствует Бисмарк, министр-президент. Проблема доклада у короля есть ключевая проблема всякой монархии вообще, потому что это проблема доступа к верхушке. Даже барон Штейн<sup>8</sup> изнемог в борьбе против тайных совещаний Кабинета (Kabinettsräte). Старая, вечная проблема доступа к верхушке не могла не привести к крушению даже Бисмарка.

Второй пример мы берем у Шиллера в его драме в стихах «Дон Карлос». Здесь великий драматург демонстрирует свое понимание существа власти. Действие драмы сосредоточено вокруг вопроса о том, кто имеет непосредственный доступ к королю, абсолютному монарху Филиппу II. Кто имеет непосредственный доступ к королю, причастен к его власти. Прежде духовник и генерал, герцог Альба оккупировали предпространство власти и блокировали доступ к королю. Теперь появляется третий, маркиз Поза, и двое других тотчас распознают опасность. В конце третьего акта драма достигает высшей точки напряжения, в последней сцене король приказывает: дворянина – то есть маркиза Позу – впредь допускать к нему сей же час. Это оказывает огромный драматический эффект не только на зрителей, но и на всех персонажей драмы. «Это действительно много, – говорит дон Карлос, когда узнает о решении короля, – много, действительно много»; а Доминго, духовник, шепчет герцогу Альбе: «Наши времена миновали». После этой кульминационной точки происходит внезапный поворот к трагическому, перипетия величественной драмы. За то, что ему удалось найти непосредственный доступ к властителю, маркиза Позу настигает смертельный выстрел. Что бы он, в свою очередь, сделал с герцогом Альбой и духовником, если бы ему удалось утвердить свое положение подле короля, мы не знаем.

#### 4.

**К. Ш.** Какими бы впечатляющими ни были эти примеры, не забывайте, господин М., что все это занимает нас лишь в определенной связи, а именно, как момент внутренней диалектики человеческой власти. Есть еще много других вопросов, которые мы могли бы рассмотреть подобным же образом, например, бездонной глубины проблему *наследования* власти династической, демократической или харизматической. Но пожалуй, уже должно быть ясно, что мы понимаем под этой диалектикой.

**М.** Я вижу здесь только блеск и нищету человека; Вы же говорите лишь о внутренней диалектике, поэтому я бы теперь хотел задать совсем простой вопрос: если власть, исполняемая человеком, происходит не от Бога и не от природы, но является внутренним делом человека, добро она тогда или зло? Или что-то еще?

---

<sup>8</sup> Генрих Фридрих Карл, барон фом унд цум Штейн (1757-1831) – прусский государственный деятель, известный реформатор и организатор борьбы против Наполеона.

**К. Ш.** Это вопрос более опасный, чем Вы, возможно, думаете. Ведь большинство людей с полнейшей уверенностью ответят: власть – добро, когда она у *меня*, и власть – зло, когда она у моего врага.

**М.** Лучше скажем так: Власть сама по себе не есть ни добро, ни зло; сама по себе она нейтральна; она есть то, что делает из нее человек: в руках доброго человека – добро, в руках злого – зло.

**К. Ш.** А кто в конкретном случае решает, добр человек или зол? Сам властитель или кто-то другой? Что некто имеет власть, означает прежде всего, что решает он сам. Это входит в его власть. Если же решает другой, то власть имеет, или, по крайней мере, притязает на нее, именно этот другой.

**М.** Тогда власть, видимо, сама по себе нейтральна.

**К. Ш.** Кто верит во всемогущего доброго Бога, не может объявить власть злой и даже нейтральной. Апостол христианства святой Павел, как известно, говорит в Послании к Римлянам: «Всякая власть от Бога». Святой папа Григорий Великий (он – архетипическая фигура папы – пастыря народов), высказывается об этом с большой ясностью и решительностью. Вот послушайте, *что он говорит:*

*Бог есть высшая власть и высшее бытие. Всякая власть от Него, и есть, и пребывает в своем существе божественной и благой. Если бы у дьявола была власть, то и эта власть, именно поскольку она власть, божественна и блага. Лишь воля дьявола является злой. Но несмотря даже и на эту всегда злую, дьявольскую волю, власть сама по себе остается божественной и благой.*

Так говорит великий святой Григорий: Только *воля* к власти есть зло, сама же власть всегда есть добро.

**М.** Просто невероятно! Тогда уж мне понятнее Якоб Буркхардт, который, как известно, сказал: «Власть сама по себе есть зло».

**К. Ш.** Давайте рассмотрим немного подробнее это знаменитое изречение Буркхардта. Ключевое место в его «Размышлениях о всемирной истории» выглядит так:

*И тут оказывается – вспомните о Людовике XIV, о Наполеоне, о революционных народных правительствах, – что власть сама по себе есть зло (Шлоссер), что без оглядки на какую-либо религию то самое право эгоизма, которое отрицают за индивидом, признают за государством.*

Имя Шлоссера, то ли в качестве примера, то в качестве ссылки на авторитет добавил издатель «Размышлений» племянник Буркхардта Якоб Эри.

**М.** Да ведь Шлоссер – это шурин Гете.

**К. Ш.** Нет, того звали Йоганн Георг Шлоссер. Здесь же имеется в виду Фридрих Кристоф Шлоссер, автор человеколюбивого сочинения о всемирной истории, которого в своих лекциях охотно цитировал Буркхардт. Однако они оба, да хотя бы и все трое: Якоб Буркхардт и оба Шлоссера вместе взятые, – ни в коей мере не могут равняться с Григорием Великим.

**М.** Но, в конце-то концов, мы ведь живем не в эпоху раннего Средневековья! Я уверен, что сегодня большинству людей гораздо понятнее Буркхардт, чем Григорий Великий.

**К. Ш.** Очевидно, что со времени Григория Великого должно было перемениться нечто существенное в отношении власти. Ведь и во времена Григория Великого случались войны и всякие ужасы. С другой стороны, те властители, которые, по Буркхардту, особенно показательны для демонстрации того, что власть есть зло: Людовик XIV, Наполеон и французские революционные правительства, – это правители уже достаточно современные.

**М.** Да ведь у них же еще и моторов-то не было! Атомные и водородные бомбы им и *привидеться не могли!*

**К. Ш.** Шлоссера и Буркхардта мы можем считать хоть и не святыми, но благочестивыми людьми, которые не стали бы легкомысленно высказываться на сей счет.

**М.** Но как же это возможно, что благочестивый человек VII века считает власть добром, тогда как благочестивые люди XIX и XX веков считают ее злом? Что-то существенное должно было измениться.

**К. Ш.** Я думаю, в прошлом веке сущность человеческой власти предстала нам совершенно особенным образом неприкрытой. Примечательно, что тезис о злой власти распространяется именно начиная с XIX века. Мы-то ведь думали, что если власть не происходит ни от Бога, ни от природы, но представляет собой нечто такое, о чем люди условливаются между собой, то проблема власти будет решена или же лишена своей остроты. Чего же еще бояться человеку, если Бог мертв, а волком не напугать даже ребенка? Но именно с того времени, как это очеловечивание власти, видимо, завершилось, то есть со времени Французской революции неотвратно все более распространенным становится убеждение, что власть сама по себе есть зло. Выражение «Бог мертв» и выражение «Власть сама по себе есть зло» возникают в одно время и в одной ситуации. И означают они, по сути, одно и то же.

5.

**М.** Но здесь требовалось бы еще кое-что разъяснить.

**К. Ш.** Чтобы правильно понять существо человеческой власти, каким оно в неприкрытом виде предстает нам в нашем нынешнем положении, нам лучше всего обратиться к одному отношению, которое обнаружил упомянутый и все еще остающийся современным философом чисто человеческой власти англичанин Томас Гоббс. Он самым точным образом определил и охарактеризовал это отношение и, следуя ему, мы назовем его «гоббсовским отношением опасности». Гоббс говорит: «Человек для всех прочих людей, о которых он думает, что они для него опасны, настолько же более опасен, чем опасен для них любой зверь, насколько более опасно его оружие, чем оружие любого зверя». Это ясное и определенное отношение.

**М.** Уже Освальд Шпенглер говорил, что человек – это хищный зверь.

**К. Ш.** Прошу прощения! Отношение опасности, которое описывает Томас Гоббс, не имеет совершенно ничего общего с тезисом Освальда Шпенглера. Напротив, Гоббс предполагает, что человек *не* является зверем, но есть нечто иное, с одной стороны, – меньшее, с другой, – много большее. Человек в состоянии в невероятной степени и чудовищным образом компенсировать, сверхкомпенсировать свою биологическую слабость и недостаточность техническими изобретениями. А теперь – внимание! Около 1650 года, когда Гоббс охарактеризовал это отношение мер, оружием человека были лук и стрелы, топор и меч, ружья и пушки – уже достаточно опасные и превосходившие когти льва и зубы волка. Однако в наши дни опасность технических средств возросла безгранично. Соответственно возросла и опасность человека по отношению к другому человеку. А в силу этого растет, не ведая пределов, и приводит к совершенно новой постановке вопроса о самом понятии человека различие между властью и безвластием.

**М.** Этого я не улавливаю.

**К. Ш.** Слушайте. Кто же такой здесь, собственно, человек? Тот, кто производит и применяет эти современные средства уничтожения, или же тот, против кого они применяются? Если сказать: власть, как и техника, сама по себе не есть ни добро, ни зло, она нейтральна, а потому она есть то, что делает с ней человек, – это не сдвинет нас дальше ни на шаг. Это

было бы просто уклонение от самого сложного вопроса, кто здесь принимает решение о добре и зле. Власть современных средств уничтожения настолько же превышает силы человеческих индивидов, которые изобретают и применяют эти средства, насколько возможности современных машин и процессов превышают силы человеческих мускулов и мозга. В этой стратосфере, в этой области ультразвука<sup>9</sup> добрая или злая человеческая воля вообще уже не присутствует. Человеческая рука, держащая атомную бомбу, человеческий мозг, иннервирующий мускулы этой человеческой руки, в решающее мгновение оказывается не столько членом отдельного человеческого индивида, сколько протезом, частью технической и социальной аппаратуры, производящей и применяющей атомную бомбу. Тут уже власть индивидуального властителя предстает всего лишь болезненным выпотом – дает о себе знать ситуация, возникающая в системе чрезмерного, не поддающегося расчетам разделения труда.

**М.** Но разве это не грандиозно – сегодня мы вторгаемся в стратосферу, область ультразвука, космическое пространство, у нас есть машины, вычисляющие быстрее и лучше, чем любой человеческий мозг?

**К. Ш.** В этом-то «мы» и заключен вопрос. Ведь все это делает не человек как человек, а запущенная им цепная реакция. Выходя за пределы человеческой *physis*, она трансцендирует и любую межчеловеческую меру всякой мыслимой власти человека над человеком. Она опережает отношение защиты и повиновения. Власть куда более, нежели техника, ускользает из рук человека, и люди, которые осуществляют власть над другими при помощи таких технических средств, больше уже не свои среди тех, кто подчинен их власти.

**М.** Но те, кто изобретают и производят современные средства уничтожения, ведь тоже только люди.

**К. Ш.** Также и по отношению к ним власть, которой они добиваются, есть величина объективная и самозаконная, бесконечно превышающая небольшие физические, интеллектуальные и духовные мощности отдельного изобретателя. Изобретая эти средства уничтожения, они одновременно, не сознавая того, работают над возникновением нового Левиафана. Современное, всецело хорошо организованное европейское государство XVI и XVII веков было искусственным техническим продуктом, оно было сверх-человеком, который был создан человеком и составлен из людей, а в образе Левиафана – огромного человека, *μάκρος, άνθροπος* противостоял своей превосходящей мощью и властью производившим его маленьким людям, отдельному индивиду, *μικρος άνθροπος*. В этом смысле хорошо функционирующее европейское государство Нового времени было первой современной машиной и одновременно конкретной предпосылкой всех других технических машин. Оно было машиной машин, *machina machinarum*, составленным из людей сверх-человеком, который возникает благодаря человеческому консенсусу и, однако же, в тот миг, когда он только появляется, тут же превосходит любой человеческий консенсус. Именно потому, что речь идет об организованной людьми власти, Буркхард и считает это злом как таковым. Поэтому в своем знаменитом изречении он отсылает не к Нерону и не к Чингисхану, но к типичным современным европейским властителям: Людовику XIV, Наполеону и революционным народным правительствам.

**М.** Быть может, последующие научные изобретения изменят все это и приведут в порядок.

**К. Ш.** Хорошо бы. Но как же изменить то, что в наши дни власть и безвластие уже не противостоят лицом к лицу и не видимы [в отношениях] человека к человеку? Человеческие массы, которые безвластно (*machtlos*) подвержены действию современных средств уничтожения, прежде всего знают о своем бессилии (*ohnmächtig sind*). Действительность власти проходит мимо действительности человека.

---

<sup>9</sup> Судя по всему, здесь и ниже Шмитт путает ультразвук (*Ultraschall*) и сверхзвук (*Überschall*).

Я не говорю, что власть человека над человеком есть добро. Я не говорю также, что она есть зло. И уж тем более я не говорю, что она нейтральна. Как мыслящий человек я постыдился бы говорить, что она есть добро, когда я имею ее, и она есть зло, когда ее имеет мой враг. Я только говорю, что она есть самостоятельная действительность, в том числе и по отношению к властителю, она втягивает его в эту диалектику. Власть сильнее, чем всякая воля к власти, сильнее, чем всякая доброта человека и, к счастью, сильнее также, чем всякая людская злоба.

**М.** Ну, конечно, успокаивает, что власть как объективная величина должна быть сильнее всякой злобы людей, осуществляющих власть; с другой стороны, все же неудовлетворительно, что она также должна быть сильнее доброты людей. Для меня это недостаточно позитивно. Надеюсь, Вы не макиавеллист?

**К. Ш.** Вот уж точно нет. Впрочем, и Макиавелли не был макиавеллистом.

**М.** Это звучит слишком парадоксально.

**К. Ш.** Я нахожу это весьма простым. Если бы Макиавелли был макиавеллистом, он бы точно не стал писать книг, которые выставляют его в дурном свете. Он бы публиковал благочестивые и назидательные книги, всего лучше – «Анти-Макиавелли»<sup>10</sup>.

**М.** Это, конечно, было бы хитрее. Но должна же быть практическая польза от Ваших воззрений. Что же нам делать?

**К. Ш.** Что делать? Вы помните начало нашего разговора? Вы тогда поставили передо мной вопрос, есть ли у меня власть или никакой власти нет. Теперь я могу обратить острие против вас и спросить: «Есть у Вас власть или нет?»

**М.** Кажется, Вы хотите уклониться от ответа на мой вопрос о практической пользе.

**К. Ш.** Напротив, я только хотел получить возможность для осмысленного ответа на Ваш вопрос. Если кто-то в связи с властью задает вопрос о практической пользе, есть все-таки разница, имеет он власть сам или нет.

**М.** Конечно. Однако Вы все время говорите, что власть есть нечто объективное, она сильнее, чем всякий человек, ее употребляющий. Но тогда должны быть приведены какие-то примеры практического применения.

**К. Ш.** Таких примеров – бесчисленное множество, как для того, у кого есть власть, так и для того, у кого ее нет. Большим успехом было бы уже одно то, если бы действительная власть публично и зримо явилась на политической сцене. Властителю, например, я бы рекомендовал никогда не появляться на публике, не будучи одетым в министерское или иное соответствующее платье. Безвластному я бы сказал: не думай, что ты хорош уже потому, что не имеешь власти. А если он страдает оттого, что не имеет власти, я напомнил бы ему, что воля к власти столь же саморазрушительна, как и воля к наслаждению или другим вещам, вкус которых обещает большее. Членам законодательного или совещательного конституционного собрания я бы настоятельнейшим образом говорил о проблеме доступа к верхушке, чтобы не думали, будто могут организовать правительство своей страны по какой-нибудь схеме как давно и хорошо всем известную работенку. Короче говоря, Вы видите, что практических применений очень много.

**М.** Но человек! Где же остается человек?

**К. Ш.** Все, что думает или делает человек, – с властью или без власти, – проходит через коридор человеческого сознания и других индивидуально-человеческих способностей.

**М.** Но тогда – человек человеку человек?

---

<sup>10</sup> В действительности книга «Анти-Макиавелли» была написана принцем Фридрихом, будущим прусским королем Фридрихом Великим.

**К. Ш.** И это тоже. Но только, конечно, очень конкретно. Например, это означает: человек Сталин человеку Троцкому – Сталин, а человек Троцкий человеку Сталину – Троцкий.

**М.** И это – Ваше последнее слово?

**К. Ш.** Нет. Я только хотел сказать Вам, что красивая формула «Человек человеку человек», «homo homini homo» – не решение, но лишь начало наших проблем. Я думаю об этом критически, но в совершенно утвердительном смысле, как сказано в величественных стихах:

*Но быть человеком – всегда остается решеньем.*

Это и будет моим последним словом.

*Перевод с немецкого и примечания А. Ф. Филиппова*

## ОБЗОРЫ

*Анна Борисенкова\**

### **Герменевтические проекты в социологии (на примере работ Ю. Хабермаса и П. Рикера)**

«Диспуту о методе» в социологии уже более ста лет. Несмотря на деактуализацию эпистемологической проблематики постулатом П. Фейерабенда «anything goes» и предложением Р. Рорти уравнивать социальные науки с литературой, религией и даже простым разговором, в конце XX века по-прежнему предпринимались попытки осмыслить природу и логику социологии, ее отличие от «наук о природе» и «наук о духе». Среди метатеоретических рассуждений, нацеленных на прояснение научного статуса социологии, выделяются работы, авторы которых обращаются к ресурсам философской герменевтики. У. Аутвейт, Э. Гидденс, Дж. Б. Томпсон отмечают, что ученым следует сфокусировать внимание на герменевтическом измерении социальных исследований, что путем последовательного изучения истолковывающего характера социологии можно открыть секрет ее непохожести на другие науки [9; 12; 15].

В данной работе мы рассмотрим, каким образом связь между социологией и герменевтикой прослеживается в теоретических проектах Ю. Хабермаса и П. Рикера. С одной стороны, эти проекты принципиально различаются (исходное понятие герменевтики в каждом случае надделено особым смыслом, что позволяет выявить два способа представления герменевтики в современной философии и социальной теории), с другой – их объединяет признание герменевтических черт социологии.

#### **К проблеме определения герменевтики**

Относительно предмета герменевтической интерпретации существуют некоторые разногласия. Единое место рассуждений – выделение *языка* как предмета истолкования (такой позиции придерживаются теоретики герменевтики Г.-Г. Гадамер, П. Рикер, Ю. Хабермас). Однако исследователи называют различные проявления языка, которые надлежит интерпретировать. Герменевтика Гадамера, обращаясь к языку, проясняет фундаментальные основы социального и исторического опыта [4]. Герменевтика Хабермаса, имеет дело с речевыми высказываниями участников коммуникативной ситуации [6]. С точки зрения Рикера, предмет герменевтики – не непосредственные высказывания, а тексты, представляющие собой «формы дискурса, зафиксированные материально и передаваемые посредством операций прочтения» [5].

Ключевые для герменевтики понятия – «понимание», «интерпретация» и «герменевтический круг». Согласно Рикеру, цель герменевтической процедуры состоит в понимании предмета истолкования [5, с. 3] Понимание представляет собой овладение смыслами, которые другой человек вкладывает в собственные высказывания или тексты. Интерпретация же является способом достижения понимания, это работа с «внешними проявлениями» субъективности – текстами или высказываниями. «Герменевтический круг» – понятие, описывающее процесс понимания текста интерпретатором. Целое текста или высказывания понимается исходя из частей, а части, в свою очередь, становятся понятными

---

\* Борисенкова Анна Валентиновна – младший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ ГУ-ВШЭ.

© Борисенкова Анна, 2007.

© Центр фундаментальной социологии, 2007.

тогда, когда понятно целое. Так, интерпретатор истолковывает, двигаясь «по кругу»: от целого к части и наоборот.

Герменевтика долго не могла занять места в социальных науках, и споры относительно ее определения и предназначения продолжаются по сей день. По словам Хабермаса, в 1967 году, впервые выдвинув тезис о том, что социальным наукам не следовало бы оставлять без внимания герменевтическое измерение исследований, он «столкнулся с возражениями двоякого рода. В одних настоятельно подчеркивалось, что герменевтика вовсе не является делом методологии...Философская герменевтика ставит себе задачей прояснить обычные процессы понимания, а не систематические подходы или методы сбора и анализа данных. Согласно возражениям другого рода, с интерпретацией не связаны никакие общие проблемы, а только частные, которые можно преодолеть применением обычной исследовательской техники» [6, с. 35]. Подобные высказывания во многом объясняются изменениями статуса и предназначения герменевтики на протяжении истории ее становления как философского направления.

Выражение «герменевтика» (греч. – *hermeneuein* – интерпретировать, переводить) в античности обозначало искусство толкования или экзегезы. В философской терминологии оно закрепилось только в XVII веке. «В 1629-1630 годах "герменевтика" впервые фигурировала в качестве понятия в лекциях страбургского профессора Й.К. Даннхауэра об аристотелевской логике и риторике. Понятие окончательно утвердилось в связи с выходом в 1654 году книги Даннхауэра "*Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacra literarum proposita et vindicata*"» (Сакральная герменевтика или метод толкования священных канонизированных текстов) [8, р. 73]. До начала XIX века было принято выделять два вида герменевтики – сакральную и профанную (*hermeneutica sacra* и *hermeneutica profana*). В первом случае герменевтика относилась к теологии и определялась как совокупность методов интерпретации библейских текстов; во втором – была частью филологии и имела дело с самыми разными типами текстов.

Статус философского направления герменевтика получила благодаря Ф. Шлейермахеру, который отказался от ее различения на сакральную и профанную и заявил, что интерпретация вербальных и зафиксированных материально текстов – задача общей герменевтики<sup>1</sup>. На развитие же герменевтики как способа исторического и социального познания (путем интуитивного, иррационального проникновения сознания читателя в сознание автора текста через внешнее выражение – знаки) оказал влияние В. Дильтей. По его мнению, интерпретация и понимание лежат в основе всего гуманитарного знания, соответственно, герменевтика должна стать общей методологией «наук о духе».

Особое значение для рассуждений о «научности» герменевтики имеет философская программа Гадамера, которая, в свою очередь, сформировалась под сильным влиянием философии Хайдеггера. Согласно Хабермасу, такое видение герменевтики послужило поводом для возражений со стороны социальных исследователей против установления связи между теорией интерпретации и социальными науками.

В философии Хайдеггера герменевтика приобретает онтологическое измерение. Герменевтика как всеохватывающее понимание – основополагающая характеристика человеческого существования. Хайдеггер описывает бытие (*Dasein*) как истолковывающее само себя и не нуждающееся в субъекте-интерпретаторе (субъект уже растворен в нем) [7]. Онтологизация герменевтики теперь исключает эпистемологические размышления Дильтея об интерпретации как способе исторического и социального познания, а также исследования Шлейермахера, посвященные специфике интерпретации текстов. В схожем направлении рассуждает Гадамер, полагающий, что «герменевтический аспект не может ограничиваться

---

<sup>1</sup> Шлейермахер выделял две стороны интерпретации: объективную (грамматическую) и субъективную (психологическую). Грамматическая сторона – сравнительный анализ различных значений того или иного слова с целью установления значения в данном контексте. Психологическая – «угадывание» значений слов, попытка проникнуть в замысел автора. Первостепенным значением Шлейермахер наделял именно грамматическую аналитическую процедуру, «угадывание» является лишь ее дополнением [4, с. 346].

"герменевтическими науками" – искусством, историей, не может ограничиваться общением с "текстами": универсальность герменевтической проблемы относится к совокупности всего разумного...» [4, с. 14].

Герменевтика в теории Гадамера уже ни в коей мере не связана с методами работы с текстом. Она становится универсальной философией, поскольку языком оформлен любой возможный человеческий опыт. «Язык есть всеобъемлющая предвосхищающая истолкованность мира... Мир для нас всегда уже мир, истолкованный в языке» [12, с. 29]. «Естественно, – замечает Гадамер, – это не значит, что любой опыт осуществляется в речи и через говорение, – слишком хорошо известно, что непосредственная затронутость миром очень часто выражается во всевозможных до и заязыковых озарениях, немотствованиях и умолчаниях, и кто будет отрицать, что реальные условия человеческой жизни, голод и любовь, труд и власть, в свою очередь, отмеряют пространство, в котором совершаются разговор друг с другом, слушание друг друга» [4, с. 13]. Герменевтика, проясняющая языковые основы человеческого опыта, выступает здесь в качестве фундаментального способа участия людей в мире.

Гадамер подчеркивает, что «герменевтический опыт – это опыт коммуникации, непрекращающегося диалога» [13, р. 222]. Основная задача герменевтики – поиск общего языка между взаимодействующими людьми. «Именно тогда, когда это представляется невозможным, когда люди говорят на разных языках, герменевтическая задача и встает со всей серьезностью» [4, с. 14]. Более того, процесс коммуникации, попытка понять Другого, преследует определенную цель – встречное движение людей друг к другу, полное взаимопонимание и конечную «социальную интеграцию» [13, р. 223]. Взаимопонимание – это не только достижение общего взгляда на вещи или овладение смыслами другого человека, но и «встреча» с иной традицией. Социальная интеграция становится возможной благодаря слиянию традиций, к которым принадлежат взаимодействующие люди.

Герменевтика Гадамера (в отличие от программы Дильтея) не предлагает социальным и гуманитарным наукам новой методологии. Как замечает У. Аутвейт, «Гадамер не предлагает никакого метода, но он и “не против него”, как в случае П. Фейерабенда» [12, р. 64]. Скорее, он указывает на процессы, предшествующие любому опыту, в том числе научному. Любая наука (математическая, естественная, гуманитарная, социальная), как и обыденное знание, представлена языком, поэтому ее основания нуждаются в последовательном истолковании.

Не будет преувеличением сказать, что ни одно из рассмотренных представлений о герменевтике не закрепилось в социальных науках и, в частности, в социологии. Герменевтика, какой ее видел Шлейермахер, ориентирована на «проникновение» в тексты и их исследование с помощью психологической и аналитической процедур. Психологизм Шлейермахера не мог быть принят доминировавшим на протяжении долгого времени в социальных науках позитивистским подходом. Но, на наш взгляд, более существенен тот факт, что у герменевтики Шлейермахера и социологии нет общего предмета. Тексты являются, скорее, единицами, а не предметом социологического исследования. По сути, они отсылают социальных ученых к интересующим их данным. В них содержится социологически значимая информация (об организации повседневной жизни, социальных группах и их интересах и т. д.), которую ученый-социолог выявляет с помощью различных методов. При этом композиция, «грамматика» текста, всевозможные проявления текстуальной реальности выносятся за скобки. Для ранней герменевтики, напротив, текст – это не только форма, наполненная интересующей интерпретатора информацией, а непосредственно предмет исследования, содержащий напряжение и проблему.

Герменевтика Дильтея (выносящая на первый план операцию «вчувствования», проникновения в сознание другого человека) не оказала заметного влияния на социальные науки, ориентированные позитивистски. Она не была принята и теми социальными учеными, которые, хотя и ставили во главу угла проблему понимания, в то же время подчеркивали необходимость рациональной позиции по отношению к предмету исследования. Так,

М. Вебер отмечает, что «понимание связи мотивов, причин действий всегда надлежит подвергать контролю с помощью обычных методов каузального сведения», рациональных методов конструирования «идеальных типов» [2, с. 377].

Напротив, универсальная герменевтика Гадамера является значимым теоретическим ресурсом для социальной теории. Его рассуждения о языковой основе социального опыта и диалогических свойствах социальной реальности оказали сильное влияние на построения Гидденса и Хабермаса. Опираясь на теоретические исследования Гадамера, Гидденс заявляет, что понимание (*Verstehen*) стоит рассматривать не как метод познания, а как принцип существования социальной реальности: процессы понимания суть онтологическое условие жизни человека в обществе [9]. Хабермас под влиянием философии Гадамера развивает концепцию «жизненного мира» (*Lebenswelt*) и теорию коммуникативного действия. Однако и Гидденс, и Хабермас указывают на весьма спорную, с точки зрения социологии, особенность универсальной герменевтики Гадамера. В философии Гадамера нет места рефлексивной позиции наблюдателя социального мира. Он оставляет в стороне проблему ученого, изучающего эту языковую диалогическую реальность. Более того, как замечает Хабермас, «Гадамер понимал "метод" как нечто противоположное истине; истины можно достичь только благодаря отработанной и продуманной практике понимания» [6, с. 46]. Между процедурой понимания, осуществляемой философом, и пониманием, к которому постоянно прибегает обыватель, нет существенной разницы.

Социология же не растворяет наблюдателя в «наблюдаемом». Уделяя значение смыслам, продуцируемым социальными агентами, она, тем не менее, создает собственное описание происходящего, производит собственные смыслы. Исходя из подобных соображений, Гидденс предлагает модель двойной герменевтики – «пересечение двух оснований значений – значений социального мира и значений метаязыков, изобретенных социологами, между которыми происходит "постоянное соскальзывание" от одного к другому, включенное в социологическую практику» [9]. Герменевтика Гадамера, по мнению Хабермаса, «является в лучшем случае искусством – в отношении науки это взрывная сила, которая разрушает любой систематический подход» [6, с. 35].

Теоретические проекты Хабермаса и Рикера решают две задачи. С одной стороны, они последовательно обосновывают необходимость интерпретативных процедур в социологии и отмечают, что у социологии и герменевтики есть общий предмет изучения, с другой – выявляют в своих герменевтических проектах ту рефлексивную исследовательскую установку, которой нет в универсальной герменевтике Гадамера.

### **Рациональные предпосылки интерпретации. Проблема герменевтики в социальной эпистемологии Ю. Хабермаса**

Герменевтика в теоретическом проекте Хабермаса выступает как программа исследования языковых высказываний, используемых участниками социального взаимодействия с тем, чтобы достичь понимания того или иного вопроса или «общего взгляда на вещи». Как отмечает Хабермас, «герменевтика имеет дело сразу с тройным отношением высказывания, которое служит, во-первых, выражением намерений говорящего, во-вторых, выражением межличностного отношения, устанавливаемого между говорящим и слушателем, и, в третьих, выражением, в котором говорится о чем-то, имеющем место в мире. Кроме того, при попытке прояснить значение того или иного языкового выражения мы сталкиваемся с отношением между данным высказыванием и совокупностью всех возможных высказываний, которые могут быть сформулированы в том же самом языке» [6, с. 40]<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> На эти рассуждения Хабермаса значительное влияние оказали подходы лингвистических философов Л. Витгенштейна и П. Уинча. Однако поскольку здесь Хабермас исследует проблему герменевтики, а не «языка» и «значения», мы не будем рассматривать понятия, заимствованные из лингвистической философии.

Приведем пример, иллюстрирующий рассуждения Хабермаса. Некто говорит: «Я вчера стал свидетелем, как г-н N написал свою фамилию на чужом тексте и представил его как собственную статью». Согласно Хабермасу, как таковое высказывание о факте плагиата не является предметом интереса интерпретатора. Пожалуй, изучением простых высказываний, описывающих факты, занялся бы социолог-позитивист. Чтобы высказывание оказалось в фокусе внимания толкователя, оно должно быть сообщено *кому-то другому*. С точки зрения интерпретатора, говорящий, находясь в ситуации коммуникации со слушателем, выражает собственное мнение по поводу этой ситуации и прилагает определенные усилия, чтобы слушатель *понял*, что имеется в виду, и они оба пришли к консенсусу. Кроме того, по замечанию Хабермаса, «когда говорящий высказывается о чем-либо в рамках повседневного контекста, он вступает в отношение не только к чему-то наличествующему в объективном мире (как совокупности того, что имеет или могло бы иметь место), но еще и к чему-то в социальном мире (как совокупности законодательно регулируемых межличностных отношений) и в собственном, субъективном мире (как совокупности манифестируемых переживаний, к которым он имеет привилегированный доступ)» [6, с. 40].

Таким образом, предметом герменевтического рассмотрения становятся сообщение о чем-то, ситуация коммуникации, а также вся совокупность общепринятых допущений, символических значений и практик, в которые коммуникация вплетена. Вернемся к нашему примеру. Для интерпретатора имеют значение все нормативные допущения, связанные с плагиатом в данном сообществе (случаи, в которых прямое заимствование из чужих работ допускается; меры наказания, принятые в конкретной социальной группе), практики плагиата (типичные способы использования чужих работ), а также личный опыт участников диалога, связанный с этой проблемой.

В отличие от герменевтики Гадамера, герменевтика Хабермаса способна не только проникнуть в суть повседневных коммуникаций, понять их, но и стать значимым дополнением объективистских методов при исследовании социальной реальности. «Доступ к социальным фактам, – считает Хабермас, – достигается путем понимания смыслов, а вовсе не наблюдения. Проверка гипотез при формулировании общих законов в эмпирико-аналитических исследованиях находит поддержку именно здесь, в процедурах интерпретации» [10, р. 309]. Важно заметить, что Хабермас не сводит социологию к «понимающей социологии». По его мнению, задача социологии – производство номологического знания. И, тем не менее, он намерен соединить объективистский подход с герменевтическим.

Поясним разницу между так называемым объективистским подходом и герменевтическим, или интерпретативным. Главное различие заключается в исследовательской позиции. В первом случае исследователь – *наблюдатель* социальной реальности. Его позиция ничем не отличается от позиции ученого, изучающего под микроскопом инфузорию-туфельку. Наблюдаемое – объект, предоставляющий необходимую информацию для построения или подтверждения имеющихся гипотез. Наблюдатель держится на определенной дистанции по отношению к объекту изучения (место, занимаемое наблюдателем, отлично от места изучаемого взаимодействия). Во втором случае исследователь (хотя ему с трудом можно дать такое определение) – *участник* социального взаимодействия, вступающий в тот самый требующий полного сосредоточения диалог, о котором рассуждает Гадамер. Субъекты, чьи высказывания подвергаются истолкованию, и сам интерпретатор – равные партнеры по социальному процессу.

С точки зрения достоверности получаемого знания, интерпретация, по сравнению с наблюдением, имеет свои плюсы и минусы. Согласно Хабермасу, перед интерпретатором встает проблема контекстной зависимости интерпретаций. Нет никакой уверенности, что он и его собеседник исходят из одних и тех же допущений и практик. В частности, могут ли собеседники быть уверены, что под плагиатом они подразумевают одно и то же? Для одного плагиат может являться символом падения науки как социального института, воплощением

академической бесчестности. Для другого заимствование чужих фрагментов текста (без ссылок на источник) – настолько привычный способ составления исследовательских отчетов, что он уже не считает этот поступок аморальным. Третий участник разговора страдает «криптомнезией»: запоминает чужие высказывания и фрагменты текстов, использует их, но моментально об этом забывает. Он считает эти поступки проявлением врожденного заболевания, поэтому ни себя, ни других в плагиате никогда обвинять не будет. Только проясняя подобные подробности во время беседы, интерпретатор овладевает смысловым контекстом, иначе понимание всех высказываний остается ему недоступным. Наблюдатель не ставит проблему в таком ключе: он изначально дистанцируется от своего объекта.

Хабермас отмечает: «так как знание, которое мы применяем, когда кому-либо что-либо говорим, является более объемлющим, чем строго пропозициональное знание, интерпретаторы должны овладеть знанием, притязающим на более широкую значимость. Поэтому корректное толкование не просто истинно, оно совпадает со значением интерпретируемого, соответствует ему или его эксплицирует» [6, с. 44]. Однако, в отличие от позитивистского знания, знание, получаемое путем интерпретации, вовсе не претендует на ценностную нейтральность. Интерпретатор, участвующий в коммуникационном процессе, выражает свое мнение по отношению к обсуждаемым событиям наравне с остальными участниками. Его интерпретации впоследствии содержат как ценностные суждения его собеседников, так и его собственную точку зрения. Можно предположить, что в условиях живой коммуникации «свобода от оценки», о которой рассуждает М. Вебер, практически недостижима.

Тем не менее Хабермас указывает на преимущество герменевтических процедур, которое должно быть использовано в социологии. Речь идет о рациональных предпосылках интерпретации и такой функции герменевтики, как рациональная реконструкция.

По словам Хабермаса, интерпретатор, несмотря на потерю ценностной нейтральности и зависимость от смыслового контекста, все же имеет возможность обеспечить себе исследовательскую позицию. Движимый единственной целью – пониманием того, что говорит ему собеседник, он будет истолковывать один контекст за другим, пока ему не станет понятной позиция другого субъекта. Когда она становится «понятной»?

Позиция субъекта становится понятной тогда, когда «основания субъекта выглядят *рациональными* в глазах интерпретатора (курсив мой. – А.Б.)» [6, с. 49]. Субъект во время диалога прибегает к высказываниям, представляющим собой объяснения, описания, предсказания, оценки. Задача интерпретатора, согласно Хабермасу, выявить те изначальные представления, системы правил, допущения, на которых основаны высказывания. Эти базовые допущения в большинстве случаев не вербализуются, поскольку субъект высказывания может предполагать, что они общеизвестны, являются само собой разумеющимися в сообществе. Именно общепринятые основания являются залогом «имманентной рациональности», присущей высказыванию [6, с. 50].

В случае если высказывания субъекта кажутся интерпретатору рациональными, операция истолкования не потребует много усилий. Если же интерпретатору непонятны высказывания говорящего, ему потребуется совершить несколько операций истолкования, пока «не будет понятно, как эта темнота возникла, то есть, почему те основания, которые мог бы привести автор в своем контексте, не столь безоговорочно ясны и убедительны» [6, с. 51].

Согласно Хабермасу, все операции интерпретации рациональны по своей природе, поскольку в процессе понимания интерпретатор сам принимает во внимание стандарты рациональности, которые он рассматривает как обязательные для всех участников взаимодействия. Предполагается, что эти стандарты должны быть общими для всех присутствующих и потенциальных участников коммуникации. Операция выявления исходных допущений, норм и обыденного непроблематичного знания получает у Хабермаса название «рациональное реконструирование». Конечно, Хабермас допускает, что, во-первых, «ссылка интерпретатора на якобы универсальные стандарты рациональности еще не является доказательством разумности предполагаемых стандартов» [6, с. 51]. Но все же он заявляет о

некой основополагающей «интуиции», подсказывающей всем участникам взаимодействия, какие высказывания можно считать истинными и рациональными, а какие нет. Во-вторых, Хабермас признает, что рациональные реконструкции представляют собой лишь более или менее правдоподобные гипотезы. Но они позволяют получить сведения, недоступные при наблюдении, когда исследователь занимает объективистскую позицию. Рациональные реконструкции служат значимым дополнением различных эмпирических методов, применяемых в социальных науках, в частности, в социологии.

Хабермас, в отличие от Гадамера, определяет герменевтику как методологическую программу в рамках социальных наук. Она не является самостоятельной: герменевтические приемы должны применяться лишь в совокупности с другими методами социальных исследований. Тем не менее последовательное рациональное реконструирование позволяет прояснить те значимые составляющие социальной жизни, которые невозможно изучить с помощью эмпирических генерализаций. С этой точки зрения, социология получает незаменимый исследовательский инструмент. Делая акцент на рациональных предпосылках интерпретации, Хабермас оставляет в социальной герменевтике ту рефлексивную составляющую, которой не достает универсальной философии Гадамера, чтобы стать эпистемологическим обоснованием социальных исследований<sup>3</sup>.

### **Теория интерпретации Рикера: от герменевтики текста к герменевтике действия**

Если Хабермас строит свое повествование о месте герменевтики в социологии на критике философского проекта Гадамера (в свою очередь, заимствуя у него некоторые принципы рассуждения), то Рикер возвращается к иным традициям герменевтики в философии – программам Шлейермахера и Дильтея. Его главные тезисы заключаются в том, что социология и герменевтика имеют общий предмет исследования и методология герменевтической интерпретации может быть использована в социологии.

Согласно Рикеру, герменевтика имеет дело не с вербальными высказываниями участников коммуникативной ситуации, а с текстами. Здесь он выступает как последователь Шлейермахера, но, в отличие от него приписывает тексту больший концептуальный потенциал, наделяя текстуальными чертами не только сами тексты, но и предмет изучения социальной науки – действие. «Макс Вебер, – пишет Рикер, – определяет предмет своего исследования как понятное по смыслу поведение людей. Можем ли мы заменить определение “понятное по смыслу” на “прочитываемое”?» [14, p.97]. Возможно ли применение схемы описания текста к анализу смыслового действия?

Повторим, что текст в проекте Рикера выступает как материально зафиксированная форма дискурса. Под самим дискурсом подразумевается «язык в действии» или «язык в употреблении» [14, p. 92]. Дискурс является частью структуралистской дихотомии, производной от различения Ф. де Соссюром понятий речи и языка: «дискурс и лингвистическая структура» или «язык в употреблении и язык как статичная семиотическая

---

<sup>3</sup> Отмечая способность герменевтики к выявлению исходных правил, допущений и представлений социального взаимодействия, Хабермас признает также ее критическую функцию. Здесь он рассуждает как представитель Франкфуртской школы. Интерпретатор-герменевт, рассматривая язык как социальное взаимодействие, должен подвергать критике язык как инструмент власти. «Вполне разумно, – пишет Хабермас, – рассматривать язык как некое сверх-установление, от которого зависят социальные институты и на которое ориентируется действие в повседневной коммуникации. Но сама языковая традиция зачастую определяется социальными процессами, зачастую не являющимися нормативными. Язык может выступать как инструмент господства и социальной власти... Герменевтика, вскрывающая подобную зависимость языка, превращается в критику идеологии» [11, цит. по: 12, p. 74]. Здесь вновь происходит столкновение взглядов Хабермаса и Гадамера. Предмет спора – место традиции, авторитета и «предрассудка» в познании. Согласно Гадамеру, неосознаваемые предпосылки (предрассудки), закрепленные в языковой традиции, в принципе, не элиминируемы из сознания. Рефлексия их не отменяет. Хабермас же настаивает на том, что рефлексия способна осуществить критическую работу, избавляющую человека от ложного сознания [4, с. 344]. Критическая герменевтика, с точки зрения Хабермаса, должна прояснять основания не только повседневного, но и научного знания, обращать рефлексивный взгляд на основания науки с тем, чтобы она не смогла стать источником контроля и идеологии.

система». Дискурс темпорален, имеет место в настоящем времени, в ситуации «здесь-и-сейчас», тогда как семиотическая система находится вне времени. Дискурс непосредственно связан с говорящим в настоящий момент субъектом (он по определению кем-то производится), так что вопрос «Кто говорит?» по отношению к дискурсу не является релевантным, он изначально самореферентен. Наконец, дискурс всегда обращен к кому-то другому. В отличие от неживой системы знаков, он совершается в ситуации взаимодействия.

При экстерииоризации живого дискурса, превращении в текст изменяются его основополагающие качества. Во-первых, исчезает темпоральность. Представим обычную ситуацию коммуникации двух людей. По прошествии некоторого времени каждый из них записывает свои воспоминания о прошедшем разговоре. Согласно Рикеру, зафиксирована будет вовсе не сама речь, обладающая некой длительностью, а ее *смысл*. Конечно, нельзя утверждать, что записанное воспоминание лишено какого-то бы ни было временного измерения. В любом случае можно отметить время начала написания текста и его завершения. Событие фиксации дискурса займет свое место в хронологии других событий, релевантных для автора. Тем не менее запись будет лишена живой временности, которую Рикер и определяет как темпоральность.

Во-вторых, экстерииоризация дискурса приводит к дистанцированию от производящего его субъекта. Иными словами, смысл текста, запечатленный на некоем материале, отделяется от интенции своего автора. Ранее текст был неотделим от нее, а теперь он автономизируется, превращаясь в самостоятельное смысловое единство. Отныне для понимания изначальных интенций автора требуется интерпретация, процедура раскрытия его замысла.

В-третьих, текст утрачивает причастность к ситуации «здесь-и-сейчас». Как отмечает Рикер, мир непосредственно взаимодействующих (Umwelt) превращается в мир (Welt), отсылающий нас к многообразию ситуаций опосредованного взаимодействия текста и различных читателей. Теперь текст обращен не только к присутствующим слушателям (как в случае устного дискурса), а к разнообразной аудитории, предлагающей столь же многообразные интерпретации его смысла.

По мнению Рикера, текстуализация (превращение в текст) живого дискурса – весьма сомнительный помощник нашей памяти, неспособной удержать происходящее. Текст утрачивает важные дискурсивные особенности. «Сравнение текста и живой речи, – пишет Рикер, – подобно сравнению представления о воспламеняющихся предметах с бумагой, горящей в настоящий момент в моей руке» [14, р 96]. И все же текст остается одним из основных хранителей смыслов, разделяемых тем или иным сообществом.

Что касается действия, то оно становится предметом научного исследования при условии его «запечатления», фиксации, во многом схожей с экстерииоризацией дискурса. Под «запечатлением» Рикер подразумевает выдвигание на первый план *смысла* действия, а не его непосредственного протекания. Став объектом рефлексии, действие утрачивает живую временность, или темпоральность, оставшись в прошедшем времени, приобретает смысл.

В поствитгенштейнианской философии действия (работах Э. Энского, Р. Тейлора, А. Мелдона), с точки зрения Рикера, поставлена, но не решена очень важная проблема – двойственность языковых игр. С одной стороны, исследуя человеческое действие, мы не можем не принять участие в «обыденной языковой игре». В таком случае мы рассуждаем о действии в категориях целей и мотивов. С другой стороны, мы действуем по правилам «научной языковой игры». Тогда мы исключаем рассуждения в категориях целей и мотивов в пользу анализа причинно-следственных отношений между действиями. Причина выступает в качестве внешнего antecedenta действия. Исследование в этом случае подобно исследованию событий природного мира. Рассмотрение же действия как смыслового, прошедшего этап «запечатления» по аналогии с фиксацией текста, по мнению Рикера, позволяет преодолеть данную двойственность. Мы сможем изучать его одновременно с точки зрения его смысла и с позиции внешних связей с предшествующими и последующими действиями.

Оказавшись «запечатленным», действие, как и дискурс, автономизируется, то есть отделяется от производящего его субъекта. «Это происходит, – замечает Рикер, – потому что наши действия “сбегают” от нас, они порой приводят к результатам, которые мы не могли ожидать» [14, р. 101]. Действие, наделенное смыслом, занимает свое место в ряду свершившихся событий и действий. Интенциональность совершившего его субъекта уже не столь важна, действие оставляет свой «след» в череде иных действий и событий. Данную характеристику Рикер определяет как социальное измерение. Понимание социального действия Рикером расходится с представлением М. Вебера. Однако он все же следует за Вебером, в частности, отмечая важность построения идеальных типов при исследовании действия и использования процедур каузального вменения. Но если Вебер указывает на субъективно полагаемый смысл действия, то у Рикера оно в момент совершения движимо интенцией актора, впоследствии интенция «исчезает», а смысл действию неким образом вменяется. Кроме того, социальным Вебер называет действие, «которое по предполагаемому действующим лицом или лицами смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на него» [3, с.453]. Социальность действия в этом случае субъективно полагаема. У Рикера социальное – нечто внешнее, на котором действие «запечатлевается», аналогично новой отметке на календаре.

Наконец, по мнению Рикера, действие, приобретая смысл, более не причастно к ситуации его совершения «здесь-и-сейчас». Оно направлено не на конкретного человека, а открыто для всех желающих его проинтерпретировать.

Таким образом, Рикер обосновывает родство социальных наук, в частности, социологии и герменевтики. Их объединяет сходство предмета исследования. Но Рикер идет дальше. «Если текст может заинтересовать социальные науки, – пишет он, – то почему бы социальным наукам не использовать герменевтические методы?» [14, р. 103]. Социальные науки, тесно взаимодействуя с герменевтикой, решают одну из основных методологических проблем – *соотношение понимания и объяснения*.

«Конфликт между пониманием и объяснением, – рассуждает Рикер, – принимает форму настоящей дихотомии с того момента, как начинают соотносить две противостоящие друг другу позиции с двумя различными сферами реальности: природой и духом. Тем самым, противоположность выражений “понимать” и “объяснять” восстанавливает противоположность природы и духа, как она представлена в так называемых науках о природе и науках о духе» [5, с. 12]. Наблюдаемые природные факты мы объясняем (используя каузальную, генетическую и структурную модели объяснения), а исторические, культурные, социальные явления, согласно Дильтею, стремимся «понять, пережить и вчувствоваться» в них [5, с. 12]. Следуя этой логике, мы могли бы только «вчувствоваться» в тексты и действия, не являющиеся природными фактами, а этот способ познания с трудом можно назвать научным.

Рассмотрение смыслового действия по аналогии с текстом позволяет избежать этой крайности и преодолеть противоречие «обыденной и научной» языковых игр прежде всего потому, что благодаря отделению смысла действия от изначальной интенции актора мы можем квалифицировать процедуру понимания не как попытку иррационального проникновения в субъективный мир актора, «вчувствования», а как интерпретирующие постижение, истолкование его смысла.

Для понимания смыслового действия, согласно Рикеру, можно использовать процедуры интерпретации, аналогичные приемам, используемым при работе с текстами. Интерпретация представляет собой проверку различных версий на правдоподобие. Процедура напоминает способ поиска причин деяния и установления вины в юриспруденции. М. Вебер определяет ее как каузальное вменение: «мы, исходя из реальных каузальных компонентов события, мысленно представляем себе один или некоторые из них определенным образом измененными и задаем вопрос, следует ли при измененных таким образом условиях ждать тождественного в “существенных пунктах” или какого-либо иного результата» [1, с. 359]. По этому же принципу, когда обнаруживаются возможные причины

действия, сравниваются между собой и выбираются наиболее вероятные, по мнению Рикера, можно открывать смысл, который актер изначально вкладывал в действие (автор вкладывал в текст), сравнивая гипотезы, выбирая одни и фальсифицируя другие.

Рикер признает, что данная процедура сильно отличается от методов объяснения в «науках о природе». Однако ее можно назвать научной. К тому же, она все-таки прибегает к генерализациям. «Мы расчленим событие на его компоненты до той степени, которая позволит подвести каждый из них под определенное “эмпирическое правило” и тем самым установить, какого результата можно “было бы ожидать” в соответствии с эмпирическим правилом от каждого компонента, если бы все остальные выступали в качестве условий» [1, с. 361]. Проверя интерпретации, мы подводим их под правило «всегда происходит так».

Данные процедуры интерпретации, направленные на понимание смыслов, общие для герменевтики и социологии. Социология, имеющая дело с человеческими поступками, не может игнорировать смыслы, которые люди вкладывают в свои действия и которыми их наделяют окружающие. Приемы истолкования, рассматриваемые в таком ключе, позволяют избежать ограниченности дихотомии «объяснение и понимание». Здесь в процедурах интерпретации может быть реализован принцип Рикера: «больше объяснять, чтобы лучше понимать» [5, с. 18].

В то же время нельзя утверждать, что сама идея преодоления дихотомии «объяснения и понимания» в социальных науках нова. М. Вебер задолго до Рикера дал определение социологии: «наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие» [3, с. 453]. Тем не менее теоретическая ценность проекта Рикера состоит в том, что он открывает перед социологией перспективы применения текстуальной логики анализа при изучении действия. Теперь социолог истолковывает смыслы действий подобно интерпретатору, работающему с текстами, используя приемы герменевтического круга и применяя герменевтические способы проверки гипотез. Хотя проекту Рикера предстоит выдержать немало критических замечаний, связанных с концептуализацией социального действия, он претендует на своеобразный синтез методов истолкования текстов и социологического анализа действия. На наш взгляд, в этом синтезе заложены обещающие перспективы.

Подведем итоги. Согласно Рикеру и Хабермасу, герменевтика занимает центральное место в социологии. По мнению Хабермаса, герменевтические приемы, основная функция которых заключается в рациональном реконструировании исходных допущений, норм и практик участников коммуникативной ситуации, являются значимым исследовательским инструментом социолога. Этот инструмент может быть использован в качестве дополнения генерализующих методов при изучении социальной реальности.

Теория интерпретации Рикера предполагает применение в социологии текстуальной логики анализа действия. В результате, социология приобретает теоретико-методологическую программу, делающую возможным рассмотрение смыслового действия как текста и одновременно использование герменевтических приемов в социальном исследовании.

И Хабермас, и Рикер оставляют герменевтике исследовательскую позицию, которая позволяет не сводить герменевтические приемы к сомнительной процедуре «вчувствования» или обыденным процессам понимания (как в случае универсальной герменевтики Гадамера). Благодаря рефлексивной установке интерпретатора герменевтика может выступить в качестве теоретико-методологического основания социальных исследований.

Этим обзором возможные перспективы соединения социологии и герменевтики не исчерпываются, а лишь намечаются. Для утверждения герменевтического характера социологии требуется внимательное рассмотрение гораздо большего круга источников. Тем не менее незавершенность данных выводов оставляет открытыми горизонты последующих теоретических решений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма / Под ред. С.Я. Левит. М.: РОССПЭН, 2006.
2. Вебер М. О некоторых категориях «понимающей» социологии // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма / Под ред. С.Я. Левит. М.: РОССПЭН, 2006.
3. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма / Под ред. С.Я. Левит. М.: РОССПЭН, 2006.
4. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Под ред. В.С. Малахова. М: Искусство, 1991.
5. Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук // П. Рикер. Герменевтика. Этика. Политика. М.: АО «КАМИ» - Изд.центр Academia, 1995.
6. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Пер. с нем. Д.В. Скляднева. СПб: Наука, 2006.
7. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Республика, 1993.
8. *Birus H.* Hermeneutics Today. Some Skeptical Remarks // *New German Critique*. 1987. № 42.
9. *Giddens A.* *New Rules of Sociological Method. A Positive Critique of Interpretative Sociologies.* Oxford: Blackwell Publishers, 1994.
10. *Habermas J.* *Knowledge and Human Interests* / Tr. By J. Shapiro. Boston: Beacon Press, 1971.
11. *Habermas J.* *Zur Logik der Sozialwissenschaften.* Frankfurt: Suhrkamp, 1971.
12. *Outhwaite W.* *New philosophies of social science. Realism, Hermeneutics and Critical Theory* / Ed. by A. Giddens. L.: The Macmillan Press LTD, 1993.
13. *Ricoeur P.* *The Conflict of Interpretations: Debate with Hans-Georg Gadamer* // *A Ricoeur reader: Reflection and imagination.* Toronto: Harvester Wheatsheaf, 1991.
14. *Ricoeur P.* *The model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text* // *New Literary History.* 1973. Vol. 5. № 1.
15. *Thompson J.B.* *Critical Hermeneutics. A study in the thought of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas.* Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Айман Тимошина\*

## **Роль денег в межличностном взаимодействии: обзор микросоциологических концепций денег**

Деньги – один из самых интригующих социальных феноменов: пожалуй, ни одна из неоднократно предпринимавшихся попыток ухватить их сущность не может считаться вполне удовлетворительной. Возможно, именно этим объясняется утверждение авторов книги «Деньги и природа человека» М.Нири и Г.Тейлора о том, что «социология мало что может сказать непосредственно о природе денег» [28, p.1]. С подобными упреками социологам приходилось сталкиваться и раньше. Так, в конце 1970-х годов Р.Коллинз писал, что среди важнейших тем социологии единственной забытой темой являются деньги, «социологи игнорируют их так, как если бы деньги были недостаточно социологичны» [11, p.190]. Дж.Ингэм называет в числе причин забвения денег социологами так называемый *Methodenstreit* – методологический спор в истории и социальных науках, в результате которого определилось предметное поле современной экономики [21]. Странно, что такая ситуация сложилась после того, как М.Вебер и Г.Зиммель предприняли первые серьезные попытки изучить социальную природу денег. В 1900 г. вышел фундаментальный труд Зиммеля «Философия денег», в 1905 г. появилась «Протестантская этика и дух капитализма» Вебера, а в 1921 году была издана его главная с точки зрения исследования денег работа «Хозяйство и общество»<sup>1</sup>.

Примечательным образом оба классика социологии рассматривали деньги со схожих позиций – как символ, выразитель духа современности. Они считали, что появление денежной экономики служит главным условием разобщенности человеческих отношений, привнесения элементов свойственного современности холодного рационального расчета даже в отношения родства и сферы эмоциональной привязанности. По словам Зиммеля, «рациональный характер современной жизни четко выдает влияние денег» [32, p.443]. Парадоксальное исчезновение интереса социологов к деньгам было всеобщим. Эта тема обсуждалась разве что в контексте наследия Зиммеля. Исключение можно сделать, пожалуй, для Т. Парсонса, который рассматривал деньги как символически обобщенное средство (посредника) коммуникации [29].

Ситуация начала меняться с 1980-х годов, когда социологи вновь «заметили» деньги и стали проявлять интерес к изучению социальных условий, причин и последствий их функционирования. Речь, в частности, идет о Н. Лумане и Ю. Хабермасе. Однако развитие социологии денег до сих пор происходит преимущественно в рамках экономической социологии.

Появление различных трактовок природы денег спровоцировало возникновение публичных дискуссий<sup>2</sup>. В фокусе внимания социологов оказались всевозможные стороны функционирования денег [20; 31], в том числе изменения в сфере денежного обращения. Тем не менее, на «карте» этой дисциплины еще немало «белых пятен». Так, Ингэм обращает

---

\* Тимошина Айман Михайловна – магистрант факультета социологии ГУ-ВШЭ

© Тимошина Айман, 2007.

© Центр фундаментальной социологии, 2007.

<sup>1</sup> В круг работ, сыгравших большую роль в становлении социологии денег небезосновательно включается «Капитал» К.Маркса, первый том которого вышел в 1867 г. Он, видимо, оказал влияние на воззрения Вебера и Зиммеля.

<sup>2</sup> Например, недавний спор о природе денег между Дж.Ингэмом, Б.Файном, К.Лапавицасом и В.Зелизер. См. [15; 18; 19;35].

внимание коллег на важность исследования социального производства денег [21], малоизученными остаются явления, связанные с материальностью денег.

На наш взгляд, несомненный интерес представляет и вопрос о том, как деньги влияют на непосредственное межличностное взаимодействие, на общение людей друг с другом. Попытаемся ответить на этот вопрос, но прежде, для того, чтобы установить уровень разработанности проблематики, выделим основные направления в анализе денег. Рассмотрение денег с культурологической или структурной точки зрения основано на признании социологами того факта, что они создаются объективными социальными отношениями и субъективными когнитивными классификациями [5, p.680]. Подобное разграничение может считаться основой для систематизации концепций денег.

Кроме того, поскольку мы будем рассматривать концепции, в которых разбору подвергаются ситуации непосредственной коммуникации с участием денег, уместно, на наш взгляд, провести различие между микро- и макросоциологией денег. Проблематика микро- и макроуровневого анализа в этой дисциплине обсуждается довольно редко – наиболее подробно она освещается в статье У. Бейкера и Дж. Джимерсона «Социология денег» [5]. Упоминание о разделении на макро- и микросоциологию денег можно найти также в работах М. Мизручи и Л. Стирнс [27].

В случае анализа на микроуровне деньги рассматриваются как объекты межличностных взаимодействий (обмен, коммуникация и т.д.). На этом же уровне может находиться регулирующее влияние норм, традиций и правил на элементарные взаимодействия с участием денег [5, p.681]. Анализ на макроуровне, напротив, предполагает рассмотрение более общих контекстов возникновения и протекания взаимодействий, «таких, как законодательный или политический механизмы управления рынками или торговлей, а также “системы значений” и верований, например, религиозные или гражданские ценности общества» [5, p.681]. Сюда входят, кроме того, источники и схемы распределения денежных потоков [27, p.317].

### **Структурное направление микросоциологии денег: роль денег в межличностном взаимодействии**

Объясняя особенности структурной интерпретации денег, Бейкер и Джимерсон подчеркивают, что изучаемые с данной позиции деньги «деперсонифицируют взаимодействия и выносят из контекста отношения» [5, p.682]. На микроуровне исследователь анализирует место денег в межличностных взаимодействиях, в частности, в рамках коммуникации и обмена [5, p.681]. При таком подходе деньги рассматриваются главным образом как посредники в обмене, причем чаще всего имеется в виду именно экономический обмен. Так, Дж. Коулмен в своей схеме анализа денежного обмена как одной из систем социального обмена подчеркивает принадлежность денег исключительно к сфере экономики и говорит о них как об одном из признаков собственно экономического обмена [10, p.119]. Иными словами, деньги представляются как обезличенный эквивалент всех товаров и услуг. Модель межличностного взаимодействия с участием денег основывается на посылке, что деньги – простой посредник коммуникации, являющийся, по сути, обменом благами и услугами. Коулмен предлагает свою точку зрения на то, как деньги «разукореняют» и «выносят из контекста» межличностное взаимодействие, становясь его участником. Дело в том, что деньги по своей природе являются заменой товарам (и услугам), которые можно было приравнять друг к другу и обменивать друг на друга при бартерном обмене. То есть, деньги упрощают процесс приобретения желаемого, коммуникация между продавцом и покупателем происходит не только и не столько по поводу *вещи*, как это было в бартерном обмене, но и по поводу самих денег.

Параллельно с этим происходит разрушение «двойного совпадения желаний» (*double coincidence of wants*), которое является необходимым условием бартерного обмена, и означает, что «не только А обладает чем-то, что хочет Б, но и у Б есть что-то желаемое для

А, и обоим то, что есть у другого, необходимо в большей степени, чем то, чем обладают сами, и поэтому они готовы на обмен» [10, p.119]. При денежном обмене эта схема существенно упрощается: не нужно искать конкретного человека, у которого есть что-то, вам необходимое, и который готов совершить обмен. Поскольку деньги являются универсальной заменой любому товару или услуге, они предоставляют возможность быстро и просто приобрести желаемое.

Однако микроструктурные интерпретации дают возможность рассматривать деньги не только как посредника экономического обмена: существует возможность более широкой трактовки денег как посредника человеческой коммуникации вообще. Можно сказать, что начало подобной интерпретации денег было положено рассуждениями Г. Зиммеля об их природе, особенно в той части этих рассуждений, где показаны последствия вовлечения денег во взаимодействие между людьми [5, p.682]. Следует уточнить, что, по Зиммелю, взаимодействие непосредственным образом связано с обменом и является более общим концептом по отношению к нему [32, p.82]. Суть обмена состоит в чем-то большем, чем просто в передаче предмета обмена и получении чего-либо взамен; он представляет собой «новый третий феномен, в котором каждый из названных процессов является одновременно причиной и следствием» [32, p.90]. Иначе говоря, «большинство отношений между людьми может быть истолковано как форма обмена... Часто недооценивается, насколько то, что на первый взгляд кажется односторонней деятельностью, на самом деле основано на принципе взаимности» [32, p.82]. Итак, обмен – самая важная и развитая форма взаимодействия как в экономической, так и в других сферах общества.

Деньги же, по Зиммелю, становятся видимым и осязаемым воплощением обмена, так как «функция обмена как прямого взаимодействия между индивидами кристаллизуется в деньгах» [32, p.175]. Они появляются из-за того, что непосредственная интеракция усложняется и сменяется взаимодействием через посредников. Непосредственное взаимодействие сравнивается по степени неудобства с бартерным, товарным обменом, оно не способно охватить всю совокупность сколько-нибудь сложных общественных образований. Точно так же государство не может выстраивать проводимую им политику, ориентируясь на требования каждого из своих граждан в отдельности. Таким образом, подчеркивается историческая необходимость появления посредников межличностного обмена, роль которых берут на себя деньги. Но поскольку деньги являются в первую очередь средством оценивания, они вносят в межличностную коммуникацию большую степень расчета и отчужденности, деперсонифицируя ее.

Другие микроструктурные интерпретации денег предполагают их трактовку как показателей объективных качеств социальных отношений [5, p.684]. В частности, сюда Бейкер и Джимерсон относят предложенную в работе Д.Чила, посвященной экономике дара, интерпретацию роли подарка. Чил показывает, что дарение подарков помогает выявить присутствие, силу и направление социальных связей между индивидами и группами [5, p.684]. В качестве примера можно привести предпринятый Г.Беккером анализ меньшей зарплаты женщин по сравнению с мужской. Разницу в оплате труда представителей разных полов он объясняет тем, что обязанности женщин по дому отнимают у них много сил и не позволяют им работать столь же эффективно, как это делают мужчины [6]. Таким образом, распределение денег на рынке труда зависит от распределения сил, прикладываемых женщинами к работе непосредственно в домохозяйстве.

Предпринимаются попытки вывести деньги на иной уровень анализа и показать, что они являются более или менее равноправными участниками человеческого взаимодействия. Этот подход используется в так называемой «сетевой» теории структурной микросоциологии денег. Наиболее интересный пример – применение Э.Лейшоном и Н.Трифтом акторно-сетевого подхода к анализу финансовых систем [26], дополненное замечанием Э.Гилберта о необходимости анализа денег как материальных объектов, «укорененных в повседневных практиках» [16, p.360].

Принципиальным отличием акторно-сетевого подхода от остальных социологических теорий, релевантным для анализа концепции Лейшона и Трифта, являются следующие идеи:

1. Способностью действовать наделяются не только люди, но и вещи. Сети взаимодействия, согласно одному из основателей ANT (Actor-Network Theory), английскому социологу Дж.Ло, состоят «не только из людей, но также из механизмов, животных, текстов, денег, строений – из любой сущности, которую вы дадите себе труд упомянуть» [24]. То есть, материальные объекты, в том числе и деньги, определяются как более или менее равноправные людям участники социального взаимодействия. Такие посредники скрепляют и направляют человеческое взаимодействие, которое почти всегда опосредовано разного рода объектами: «Объекты не средства, а скорее посредники – точно так же, как и все другие актанты» [23]. И хотя Лейшон и Трифт называют эти объекты просто посредниками, они все же подчеркивают их способность к самостоятельному действию [26, p.297–298]<sup>3</sup>.

2. Действующие *объекты* представляют собой сети взаимодействия, поскольку любой объект – это сложное или комплексное образование с точки зрения его пространственно-временного положения или его «составной» природы. Лейшон и Трифт рассматривают финансовые системы именно как пространственно-временную сеть. Здесь следует уточнить, что под деньгами в данном случае надлежит понимать «информацию, циркулирующую в специфических, отделенных друг от друга, но все же пересекающихся акторных сетях» [26, p.xiii].

Гилберт дополняет эти макроуровневые, по сути, замечания заявлением о том, что ANT предоставляет новые возможности для анализа «конституирующей роли денег как объектов в социальных сетях» [16, p.381], подчеркивая важность исследования материальности денег. Другими словами, она предлагает уделять больше внимания анализу на микроуровне и рассматривать деньги с точки зрения их «повседневного обращения» [16, p.380], т.е., исследовать «простые центры», которые каждый день переходят из рук в руки [16, p.381].

При этом Гилберт останавливается на так называемой иконографии (изображениях на деньгах) и ее связи с государством и национальной идентичностью, выходя тем самым за рамки собственно микроуровневого анализа.

Это общая проблема для всех микроструктурных концепций. Исследователи в основном предпочитают или работу на макроуровне структурного подхода<sup>4</sup>, или синтез макро- и микроуровней. Так, Коулмен рассматривает простой обмен между двумя людьми лишь как своеобразную базу для более сложного денежного обмена, который включает в себя «третьих лиц». В роли последних могут выступать как «обобщенный третий» индивид, так и финансовые организации и институты – банк, расчетная палата – или государство [10, p.119–131]. «Чистый» микроанализ касается только исследования отдельных явлений, как, например, упомянутый выше анализ Беккера причин неравенства в оплате женского и мужского труда.

В структурном анализе роли денег в межличностном взаимодействии можно выделить следующие основные тенденции: рассмотрение денег как посредника интеракции, как элемента сети взаимодействия (с поправкой на невозможность полностью микроуровневого анализа сетей) и как объективного показателя качеств непосредственной коммуникации.

### **Культурно-ориентированное направление микросоциологии денег: социокультурная укорененность денег**

Значительный вклад в разработку данного направления внесла концепция множественных денег, выдвинутая В.Зелизер. Изучение денег в рамках этой традиции сводится к следующему: именно социально-культурные факторы определяют, что является собственно деньгами, как они функционируют, а также что и каким образом может

<sup>3</sup> Чтобы зафиксировать наполнение действия новым значением, а ANT вводится понятие *актанта*, которому Лейшон и Трифт не придают большого значения.

<sup>4</sup> Примерами могут служить уже упомянутое определение денег Т.Парсонсом как символически обобщенного средства коммуникации или применение сетевой теории к анализу денег, предложенное Н.Доддом. См. [12].

использоваться в качестве денег [5, p.685]. Другими словами, считается, что вынесенная за скобки контекста использования денежная купюра «бесцветна», она не обладает каким-либо качествами кроме особенностей, связанных с материальной формой (она может быть, к примеру, рваной или мятой), и номинала. Однако если ту же самую банкноту вернуть в социальный контекст, она приобретет новые качества, которые не зависят от ее внешнего вида или зависят в незначительной степени. Так, люди по-разному относятся к деньгам в зависимости от некоторых субъективно значимых факторов. Деньги могут наделяться неодинаковым значением в частности, от того, как они добыты: так называемые «грязные деньги» являются результатом незаконных или неодобряемых общественной моралью сделок. На микроуровне рассматриваются как приобретение деньгами этих новых свойств в процессе межличностной коммуникации, так и особенности функционирования маркированных подобным образом денег [5, p.681].

Из привязки к зависимым от культуры аспектам использования денег вытекает сходство данного подхода с антропологическим и этнографическим анализом. Это дает основание некоторым ученым-несоциологам утверждать, что современные социологические теории денег «зачастую являются смешением идей классической социологии (особенно идей Зиммеля) с результатами новейших антропологических исследований» [25, p.13]. Однако, на наш взгляд, правильнее было бы сказать, что идеи классиков в данном подходе чаще подвергаются критике, чем простой рецепции [3; 22]. Что же касается заимствований из антропологии, то, по всей вероятности, они носят преимущественно иллюстративный характер или являются отправным пунктом социологических теорий денег, хотя в некоторых исследованиях трудно провести грань между антропологией и собственно социологией (см.[22]).

Несколько упрощая, можно сказать, что «микрокультурная» социология денег опирается на положения, выраженные в тезисной форме В. Зелизер:

1. Едва ли не каждому виду социальных отношений соответствует свой вид денег [3, с.53].
2. Люди активно приспособливают деньги к мельчайшим нюансам своего поведения [3, с.271].

Квинтэссенцией этого подхода является теория множественных денег.

### **Концепция множественных денег**

Неодинаковое отношение людей к *современным* деньгам, якобы отличающимся однородностью и взаимозаменяемостью, стало предметом пристального внимания ученых во второй половине XX века. Работы, в которых обсуждается данная проблематика, можно разделить на две группы: в первую входят труды таких социологов, как В.Зелизер, В.Эспеланд и Б.Каррутерса, посвященные разработке самой концепции множественных денег. Ко второй группе относятся работы, в которых деньги анализируются как дифференцированные и неоднородные объекты. Таковы, например, построения С. Синх и Г. Хоген. Кроме того, сюда включены также некоторые наблюдения разработчиков данного направления и исследования специфики социального значения денег в отдельных ситуациях, проведенные В. Эспеланд, Д. Билби и У. Билби, Т. Кальповым.

Истоки теории множественных денег просматриваются в исследованиях антропологов: так, К. Поланьи писал, что в первобытном обществе «ни один вид предметов не “заслуживает” называться деньгами, скорее, термин относится к небольшой группе предметов, каждый из которых мог бы служить в качестве денег, но только одним – своим особым образом». И далее: «в качестве денег используются различные предметы – они выполняют различные функции для разных целей» [4, с.422–423]. Поланьи подчеркивает существование в первобытных обществах множества *физических* форм денег, каждая из

которых соответствует определенной цели<sup>5</sup>. А вот современные деньги, по его мнению, подобной множественностью уже не обладают: «В современном обществе различие между разнообразными методами использования денег представляет собой не более чем исторический или теоретический интерес. Практический интерес к этому возникает весьма редко» [4, с.436].

Зелизер, в пику данной точке зрения, долгое время главенствовавшей в социологии, продемонстрировала, что «подлинно социологическая модель денег должна показать, каким образом, насколько глубоко и с какой целью ... разнообразные сети социальных отношений и смысловые системы маркируют современные деньги, привнося контроль, ограничения и различия, которые оказываются столь же действенными, что и в случае распределения примитивных денег» [3, с.271]. По мнению Зелизер, «деньги никогда не были ни культурно нейтральны, ни социально анонимны. Они прекрасно умеют “подрывать” ценности и превращать социальные узы в числа. Однако ценности и социальные отношения оказывают на деньги обратное воздействие, наделяя их своим смыслом и укладывая в рамки социальных схем» [3, с.52]. Другими словами, предполагается, что деньги являются своеобразными ярлыками для социальных отношений, будучи в сильной степени привязанными к ценностно-нормативным аспектам этих отношений. «Множественные деньги важны как мощные, зримые символы определенного рода социальных отношений и смыслов. Но важны они не только поэтому; они непосредственно влияют на социальные практики. Люди не только по-разному представляют или воспринимают различные виды денег, но и тратят, сберегают или передают их с различными целями и различным людям» [3, с.278].

Особенно важно, что это именно разные деньги, которые не могут быть заменены друг другом, так как они связаны с разными социальными отношениями<sup>6</sup>. Зелизер показывает, что такой вид денег, как *взятка* является выражением «настойчивого стремления управлять другими», *выплаты по бедности* поддерживают социальное неравенство, *чаевые* соответствуют «поддержанию тонких статусных отличий», а «*расходы на ухаживание, пособие на детей и алименты*» сопутствуют «возникновению или распаду социальных связей» [3, с.61 – 62].

Под деньгами Зелизер понимает все то, что представляет для людей ценность и распознается в качестве денег. Она считает недостаточным определять как деньги только выпускаемые государством купюры и монеты с официально установленной внешней формой и номиналом. С ее точки зрения, такое понимание сильно заужено и исключает из поля зрения исследователей разнообразные денежные эквиваленты и отличные от денег платежные средства [3, с.55]. Люди используют набор определенных практик, который называется целевым обозначением денег (earmarking). Сюда, в частности входят *различные способы «приспособления к своим нуждам» выпускаемых правительством денег* [3, с.55].

Еще одна подобная практика – превращение в деньги объектов, изначально не предназначенных для выполнения их функций. Это, например, «сигареты, почтовые марки, жетоны для метро, фишки для игры в покер или бейсбольные карточки» [3, с.55] – словом, все, что может представлять ценность для обменивающихся сторон.

Третий способ производства «новых» денег состоит в создании отличных от институциональных, т.е. выпускаемых государством денег. Имеются в виду законные денежные субституты – продуктовые талоны, подарочные сертификаты, внутрифирменные деньги и т. д.

---

<sup>5</sup> Сама по себе эта идея не нова. Еще Вебер говорил о том, что «нигде и никогда нельзя было купить жену в обмен на раковины, но всегда только в обмен на скот, между тем как при мелких оборотах брались и раковины, потому что они представляли более дробные единицы» См. [2, с.223]. Кроме того, исследование множественных денег было предпринято М. Дуглас [13, p.119-145].

<sup>6</sup> Чтобы подчеркнуть социальную и символическую природу дифференцированных денег, Зелизер использует целый ряд синонимичных слов и словосочетаний: «special money», «special monies», «multiple monies», «currencies» [3; 34, p.138-142].

Таким образом, складывается картина принципиальной множественности денег на микроуровне, когда люди создают все новые и новые деньги «для определения сложных и меняющихся социальных связей» [3, с.277].

В трактовке Б.Каррутерса и В.Эспеланд деньги являются, если можно так сказать, еще более разнообразными, чем в концепции Зелизер. Эти исследователи настаивают на том, что «деньги варьируются в своей обезличенности от в высшей степени анонимных до весьма индивидуализированных и различаются от денег «общего использования» на одной стороне континуума до «целевых» и денег «ограниченного использования» на другой» [9, p.1389]<sup>7</sup>.

Каррутерс и Эспеланд несколько расширяют понимание источника денег: важен, во-первых, «автор» денег (скажем, государство ли это, другая организация или индивид), а во-вторых, то, откуда они «приходят» в конкретные отношения (социально неодобряемые источники денег, которые в последствии определяются как «грязные»).

Еще одним важным нововведением Каррутерса и Эспеланд в концепцию множественных денег является подведение под нее интересной теоретической базы: в качестве обоснования возможности существования дифференцированных денег используется их уподобление языку, а анализ денег ведется с помощью прагматической теории языка Л. Витгенштейна<sup>8</sup>. Суть этой теории состоит в признании ситуативности языка, т.е. зависимости значения, которое принимает слово, от контекста, в котором оно произносится. Иначе говоря, значение слова не может сводиться только к референту, к которому оно отсылает, к обозначаемому явлению или объекту. Авторы приходят к выводу о схожей природе денег и, соответственно, о возможности применения к их исследованию двух развиваемых Витгенштейном моделей языка: языковых игр и языка как инструмента.

Концепция языковой игры в данном случае представляет собой «язык и действия, в которые он вовлечен» [9, p.1388]. Это значит, что контекст использования слова корректирует и уточняет его значение: «языковые игры дают нам системы референций, необходимый лингвистический контекст для уточнения значения» [9, p.1388]. То же и с деньгами: их значения, как и значения языка, «весьма разнообразны, основаны на опыте и локальны, однако при этом не полностью переменчивы» [9, p.1388]. Тем самым еще раз подчеркиваются, что деньги не являются простыми ярлыками или символами контекстов социальных отношений.

Теория языка как инструмента рассматривает слова как действия и их способность «создавать вещи» [9, p.1387]. Однако разные инструменты подходят для разных видов работ, хотя внешне они могут выглядеть почти одинаково. Точно так же, по мысли Каррутерса и Эспеланд, дело обстоит с деньгами: они могут выглядеть одинаково, однако разные их виды годятся для разных целей. Более того, иногда деньги выглядят крайне неуместно или даже недопустимо в принципе. Больше всего неуместность денег, по мнению авторов, бросается в глаза при дарении подарков. В отличие от Зелизер, показывающей растущее многообразие денежных подарков [3, с.114–169], Каррутерс и Эспеланд придерживаются иной точки зрения, настаивая на том, что «во многих ситуациях использование денег подвергает опасности сам дух дарения подарков. Следовательно, деньги обычно неприемлемы в качестве подарка» [9, p.1394].

Данная концепция более уязвима для критики хотя бы в той ее части, где анализ денег проводится по аналогии с языком. На наш взгляд, здесь необходимо учитывать, что деньги в отличие от языка все-таки материальны. Сами авторы отмечают необходимость уделять внимание материальности денег, однако рассматривают лишь социальный механизм обретения деньгами своей материальной формы.

<sup>7</sup> В концепции Зелизер также предполагается логическое ограничение «всепроницающих» денег хотя бы в том смысле, что целевые, например, подарочные или «женские» деньги должны быть потрачены на более или менее строго определенные культурными нормами цели.

<sup>8</sup> Каррутерс и Эспеланд далеко не первые отметили сходство денег и языка. Так Т. Парсонс отмечает, что в своей посреднической функции деньги аналогичны двум средствами коммуникации – языку и власти; с ними деньги роднит схожесть свойств и функций [30].

Интересную коррективу в представления о множественной природе денег вносит Э.Калер. В принятой еще классиками социологии традиции есть взгляд на деньги как на зависимую от обстоятельств современности переменную: деньги считаются следствием, символом, выразителем нового времени [32; 39]. Подобная точка зрения довольно устойчива: даже такой критик классического подхода в интерпретации денег, как Зелизер, по мнению Калер, подвержена ее влиянию [22, p.337].

Калер предлагает смотреть на деньги как на *причину* происходящих изменений. Она переворачивает эту каузальную цепочку и на примере двух малийских городов доказывает ее недостаточность для анализа денег [22]. Эта теория весьма уязвима для критики, однако любопытен сам взгляд исследователя на деньги как на причину социальных изменений.

Для представителей микрокультурного направления характерен особый интерес к анализу социального значения денег в сфере нерыночных отношений. По словам Зелизер, она отказалась от схватки с экономистами «на их же собственном поле» и выбрала для своего анализа «наиболее важные области, в которые, согласно традиционному дихотомическому делению на рыночные и личные отношения, деньги либо не должны проникать вовсе, либо обязательно должны приводить к рационализации, выхолащиванию личных и социальных отношений и овеществлять отношения к семье, дружбе, бескорыстной помощи, смерти» [3, с.71–72]. Анализируется то, каким образом деньги встраиваются в сферы, где, на первый взгляд, им совершенно не место. Так, исследования особенностей функционирования денег в сфере морального и в некотором смысле сакрального предлагает Зелизер (деньги и страхование жизни, выплаты по смерти детей), Хоген (деньги как выражение родительской любви в представлении детей из разведенных семей), Эспеланд (покупка и продажа донорской крови) [3; 14; 17; 36; 38]. Сфера «подарочных» денег весьма подробно освещена в уже рассмотренных работах Зелизер, Каррутерса и Эспеланд. Кроме того, некоторые сведения по этой части можно почерпнуть в статье Т. Кальпова [8]. Семейные деньги анализируются в работах Зелизер [3, с.73 – 113], Д. Билби и У. Билби [7]. С. Синх рассматривает различные виды денег на примере индийской диаспоры [33].

Зелизер соглашается с теми пунктами критики своей книги «Социальное значение денег», которые можно свести к тому, что она анализирует не сами деньги, а социокультурные особенности связанных с ними социальных отношений. Причина этого, как считает Зелизер, кроется именно в микроуровне ее анализа, в том, что она «сосредоточена на описании процессов скорее мелкого масштаба, а не на макроуровневых аспектах значения денег». Кроме того, Зелизер выражает сожаление, что не освещенной осталась «серьезная», экономическая сторона функционирования денег, то, что она называет «настоящими деньгами» [37, p.1062].

Зелизер дает краткие зарисовки модели объединения макро- и микроуровней анализа денег. Предлагаемая ею модель основана на рассмотрении культурных факторов и анализе двойственной природы денег. На микроуровне деньги множественны и дифференцированы, но с увеличением уровня абстракции они становятся все более однородными и качественно нейтральными [37, p.1065]. Такой взгляд является своего рода дополнением к теории множественных денег, и, возможно, он стал своеобразным ответом на претензии представителей макросоциологии денег, признающих не множественность самих денег, а их способность приобретать различные социальные значения в зависимости от особенностей ситуации, в которой они используются.

Итак, в данном обзоре предложен один из способов ответа на вопрос о месте и роли денег в непосредственной коммуникации: анализ ведется с микроструктурной и микрокультурной позиций. Первая предполагает три подхода: в рамках одного деньги рассматриваются как посредник элементарных коммуникаций и обменов в экономической и неэкономических сферах; второй позволяет выявить роль денег в сетях взаимодействий (этот подход не полностью соответствует микроуровневому описанию и, кроме того, предоставляет возможности для анализа денег как участников, а не просто посредников

элементарного взаимодействия); и третий предполагает рассмотрение денег как своеобразного показателя объективных качеств социальных отношений.

Исследователи, придерживающиеся микрокультурной традиции анализа денег, изучают, каким образом деньги вписываются в культурные контексты взаимодействий. В соответствии с этим, деньгам отводится весьма специфическая роль маркера, символа взаимодействия, значение которого выводится из его контекста. То есть то, *что* считать деньгами, и то, *как* они будут определять межличностное взаимодействие, зависит от социально-культурных норм самого взаимодействия.

В заключение отметим, что предложенные здесь микросоциологические интерпретации денег имеют и серьезные недостатки. К ним относится, например, чрезмерная сфокусированность на социальных отношениях, а также вытекающее отсюда невнимание к собственно деньгам. Тем не менее, эти концепции помогают приблизиться к разгадке тайны вечно ускользающих от исследователей денег.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Беккерт Дж.* Экономическая социология в Германии // Экономическая социология. 2000. Т. 1. № 2. С. 94 – 101.
2. *Вебер М.* История хозяйства // История хозяйства. Город. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.
3. *Зелизер В.* Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы. М.: ГУ-ВШЭ, 2004.
4. *Поланьи К.* Семантика использования денег // Историко-экономический альманах / Сост. Д. Н. Платонов. М.: Академический проект. 2004.
5. *Baker B., Jimerson J.* The Sociology of Money // American Behavioral Scientist. 1992. № 35. P. 678 – 693.
6. *Becker G.* Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor // Journal of Labor Economics. 1985. № 3. P. 33 – 58.
7. *Bielby D., Bielby W.* She Works Hard for the Money: Household Responsibilities and the Allocation of Work Effort // The American Journal of Sociology. 1988. Vol. 93. № 5. P. 1013 – 1059.
8. *Calpov T.* Rule Enforcement Without Visible Means: Christmas Gift Giving in Middletown // The American Journal of Sociology. 1984. Vol. 89. № 6. P. 1396 – 1323.
9. *Carruthers B., Espeland W.* Money, Meaning, and Morality. American Behavioral Scientist // 1998. № 41. 1384 – 1408.
10. *Coleman J.* Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1990.
11. *Collins R.* Review of the Bankers by Martin Mayer // The American Journal of Sociology. 1979. Vol. 85. № 1. P. 190 – 194.
12. *Dodd N.* The Sociology of Money: Economics, Reason and Contemporary Society. Cambridge: Polity Press, 1994.
13. *Douglas M.* Primitive Rationing // Themes in Economic Anthropology / Ed. By R. Firth. L.: Tavistock, 1967. P. 119 – 145.
14. *Espeland W.* Blood and Money: Exploiting the Embodied Self // The Existential Self in Society / Ed. by J. Kotarba, A. Fontana. Chicago: University of Chicago Press, 1984. P. 67 – 98.
15. *Fine B., Lapavistas C.* Markets and Money in Social Theory: What Role for Economics? // Economy and Society. 2000. Vol. 29. № 3. P. 357 – 382.
16. *Gilbert E.* Common Cents: Situating Money in Time and Space // Economy and Society. 2005. Vol. 34. № 3. P. 357 – 388.
17. *Haugen G. M.* Relations between Money and Love in Postdivorce Families: Children's Perspectives // Childhood. 2005. № 12. P. 507 – 526.

18. *Ingham G.* “Babylonian Madness”: On the Historical and Sociological “Origins” of Money // What is money? / Ed. by J. Smithin. London: Routledge. 2000. P. 16 -41.
19. *Ingham G.* Fundamentals of a Theory of Money: Untangling Fine, Lapavitsas and Zelizer // Economy and Society. 2001. Vol. 30. № 3. P. 304 – 323.
20. *Ingham G.* The Nature of Money. Cambridge: Polity Press, 2004;
21. *Ingham G.* On the Underdevelopment of the “Sociology of Money” // Acta Sociologica. 1998. Vol. 41. № 1. P. 3 – 18.
22. *Kaler A.* When They See Money, They Think it's Life: Money, Modernity and Morality in Two Sites in Rural Malawi // Journal of Southern African Studies. 2006. Vol. 32. № 2. P. 335 – 349.
23. *Latour B.* On Interobjectivity // Mind, Culture, and Activity: An International Journal. 1996. Vol. 3. № 4. 1996. P. 228 – 245. Доступ через <<http://www.bruno-latour.fr/article/063.htm>>.
24. *Law J.* Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity. Working Papers of Lancaster University, 2003. Доступ через <<http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Notes-on-ANT.pdf>>.
25. *Lea S., Webley P.* Money as Tool, Money as Drug: The Biological Psychology of a Strong Incentive. Preprint // Behavioral and Brain Sciences. 2005. Доступ через <<http://www.bbsonline.org/Preprints/Lea/Referees/Lea.3.pdf>>.
26. *Leyshon A., Thrift N.* Money/Space: Geographies of Monetary Transformation. L.: Routledge, 1997.
27. *Mizruchi M., Stearns L.* Money, Banking, and Financial Markets // The Handbook of Economic Sociology / Ed. by N. Smelser, R. Swedberg. Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 313 – 342.
28. *Neary M., Taylor G.* Money and the Human Condition. N.Y.: St. Martin’s Press. 1998.
29. *Parsons T.* The social system. L.: Routledge. 1991.
30. *Parsons T.* Social Systems and the Evolution of Action Theory. N.Y.: Free Press. 1977.
31. *Shell M.* Money, Language, and Thought: Literary and Philosophic Economies from the Medieval to the Modern Era. Berkeley: University of California Press, 1982.
32. *Simmel G.* The Philosophy of Money / Ed. by D. Frisby. N.Y.: Routledge, 1990.
33. *Singh S.* Towards a Sociology of Money and Family in the Indian Diaspora // Contribution to Indian Sociology. 2006. № 40. P. 375 – 398.
34. *Zelizer V.* The Creation of Domestic Currencies // The American Economic Review. 1994. Vol. 84. № 2. P. 138 – 142.
35. *Zelizer V.* Fine Tuning the Zelizer View // Economy and Society. 2000. Vol. 29. № 3. P. 383 – 389.
36. *Zelizer V.* Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death in 19th-Century America // The American Journal of Sociology. 1978. Vol. 84. № 3. P. 591 – 610.
37. *Zelizer V.* Pasts and Futures of Economic Sociology // American Behavioral Scientist. 2007. № 50. P. 1056 – 1069.
38. *Zelizer V.* The Price and Value of Children: The Case of Children’s Insurance // The American Journal of Sociology. 1981. Vol. 86. № 5. P. 1036 – 1056.
39. *Weber M.* Economy and Society / Ed. by G. Roth, C. Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978. Vol. 1, 2.

## РЕЦЕНЗИИ

*Наиль Фархатдинов\**

### **Техника и наука как «идеология»: через 40 лет на русском языке**

**Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» /Пер. с нем. М.Л.Хорькова.  
М.: Практикс, 2007. – 208 с.**

**Habermas Jurgen. Technik und Wissenschaft als «Ideologie». Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1968.**

В 2007 году в издательстве «Практикс» вышел перевод сборника трудов немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса «Техника и наука как “идеология”». Сборник содержит ряд статей, в которых с разных точек зрения анализируется, как сказано в аннотации, проблематика «отношений между теорией и практикой в условиях современной научно-технической цивилизации». Безусловно, при чтении работ, вошедших в данное издание, необходимо представлять себе, в какое время они были написаны. Это 60-е годы, ознаменованные студенческими волнениями и бурным развитием критической теории.

Сборник организован следующим образом. В первую очередь Хабермас уделяет внимание философским основаниям социологической проблематики, разбирает некоторые идеи Гегеля, касающиеся теории и практики, затем рассматривает проблематику рационализации современного мира, а в конце вновь обращается к исключительно философским источникам и, опираясь на Шеллинга и Гуссерля, с несколько иных позиций анализирует обозначенную выше проблематику в инаугурационной речи «Познание и интерес»<sup>1</sup>. Центральной в сборнике является одноименная статья, которая, по словам Хабермаса, носит экспериментальный характер, поскольку требует своего рода дальнейшей проработки, а идеи, обсуждаемые в ней, нуждаются в «эмпирической проверке». Этим, в том числе, определяется и фрагментарность книги, на что автор указывает в «Предварительных замечаниях». Хабермас отмечает, что статьи, затрагивающие философские основания его концепций, в частности, первая статья сборника, в которой, опираясь на Гегеля, он выводит соотношения трех «диалектических образцов» – труда, интеракции и языка, предваряют его социологические выводы относительно позднекапиталистического общества.

Упомянутая статья представляет особую социологическую ценность. С одной стороны, она содержит размышления над тезисом Г. Маркузе. Это выглядит как своего рода диалог с одним из представителей старшего поколения Франкфуртской школы. Однако, с другой стороны, речь идет о проблеме, которая напрямую связана с классической социологией, – проблеме рационализации. Текст был написан как ответ на утверждение Маркузе, что «освобождающая сила технологии [...] превращается в пути освобождения, становясь инструментализацией человека<sup>2</sup>» (с.7). Маркузе использует достаточно

---

\* Фархатдинов Наиль Галимханович – магистрант 1 года, стажер-исследователь Центра фундаментальной социологии ИГИТИ ГУ-ВШЭ.

© Фархатдинов Наиль, 2007.

© Центр фундаментальной социологии, 2007.

<sup>1</sup> В этой лекции Хабермас рассматривает соотношение теории и практики с точки зрения различных наук: эмпирико-аналитических, историко-герменевтических и социальных.

<sup>2</sup> Отметим, что и Маркузе, и Хабермас говорят именно о технике, понимаемой достаточно широко: не столько как совокупность машин и механизмов, сколько как совокупность рациональных приемов овладения миром.

популярный риторический прием, который с тем же успехом может быть применен к самим марксистам и критической теории, – видеть за освобождением очередное ограничение свободы, завуалированное благими целями и намерениями.

В центре обсуждения – веберовская проблема рациональности. Точкой опоры для рассуждений Хабермаса является переосмысление, предпринятое Маркузе в отношении рациональности. Если, по Веберу, рациональность предполагала в большей степени расширение сферы целерационального действия, то Маркузе говорит о том, что формальное понятие рациональности «обладает определенными содержательными импликациями» (с.51), а это означает установление политического господства параллельно расширению сферы данной формы действия. Таким образом, рационализация для Вебера – это процесс, требующий соответствующего технического уровня, тогда как Маркузе расширяет понимание до «скрытой» идеологии, когда техническая сторона становится определяющей и идеологической по содержанию. Наука, в свою очередь, оказывается приспособленной для реализации «технической идеологии», так как «теоретический операционализм в конечном счете соответствовал операционализму практическому» (с. 55). Тем не менее, даже расширяя толкование рациональности, Маркузе, по мнению Хабермаса, не доводит дело до логического конца и «капитулирует» перед проблемой, обсуждение которой и занимает основную часть работы.

Институт науки держится на господстве над природой и господстве над человеком, образующих уникальный исторический проект Науки. Их «революционизация» должна предшествовать «эмансипации», что предполагает изменение отношений науки и техники и возникновение нового, «исторически необходимого» проекта. Проблема, которую обозначает Хабермас, состоит в том, что создание нового проекта Науки предполагает и иную, новую Технику. Хабермас же, последовательно рассматривая геленовскую идею о связи целерационального действия и технического развития, показывает, что «какой-то качественно иной техники» быть не может (с.60). Другими словами, Маркузе стремился сделать рациональность относительным понятием (в терминах Хабермаса, «проектом»), но ни он, ни критикуемый им Вебер не предложили понятия, которое могло бы охарактеризовать переход к современности, «когда рациональная форма науки и техники, то есть воплощенная в системах целерационального действия рациональность, расширяется до жизненной формы, до “исторической тотальности” жизненного мира» (с.63).

Неудовлетворенность этим «релятивизмом» заставляет Хабермаса предложить другую схему анализа, другой подход к классической проблеме социологии – к вопросу о переходе от традиционного к современному обществу. Он выдвигает собственные альтернативные обозначения: интеракцию (коммуникативное действие) и труд (целерациональное действие), и выделяет два типа систем: *институциональные рамки общества и подсистемы<sup>3</sup> целерационального действия*. Для традиционных обществ, пишет Хабермас, характерно доминирование культурных традиций, основанных как раз на интеракции (институциональные рамки общества), а переход к современным обществам становится возможным в том случае, если подсистемы целерационального действия выходят за «границы легитимирующей действительности» культурных традиций (с. 73). В обществах, вступивших в модернизационный период, возникает экономическая легитимация, которая и позволяет Хабермасу говорить в терминах «рационализации» в смысле М. Вебера. Он различает два уровня рационализации: снизу, когда происходит адаптация на уровне производства, и сверху, когда речь идет о давлении науки, сменяющей традицию («космологические интерпретации мира»).

Хабермас соглашается с утверждением Маркузе, что нельзя применять веберовское понятие рационализации по отношению к позднекапиталистическому обществу. Он

---

Неудачный перевод английского «technology» как «технология» не позволяет обнаружить это общее для Маркузе и Хабермаса понимание техники. – *Прим.ред.*

<sup>3</sup> Речь идет о подсистемах, но в переводе – подсистемы. – *Прим.ред.*

отмечает, что последняя четверть XIX века ознаменована двумя тенденциями: «1) усилением интервенционистской активности государства, которая должна была гарантировать стабильность системы, и 2) растущей взаимозависимостью научных исследований и техники, превратившей науку в главную производительную силу» (с. 81)<sup>4</sup>. Именно эти две тенденции, считает теоретик, способствуют возникновению ситуации, которая отличается от либерально развивающегося капитализма, и в которой именно наука и техника приобретают легитимирующую функцию господства.

Как отмечает Хабермас, до XIX века наука и техника не были столь сильно связаны, развитие шло параллельно; а возникновение «онаученной техники» – результат перехода к позднекапиталистической системе. «Техника и наука становятся первостепенной производительной силой» (с. 88).

В свете обозначенных тенденций Хабермас переосмысливает два основных понятия классического марксизма – «классовую борьбу» и «идеологию». По его мнению, в технократическом обществе классовый конфликт не столь очевиден, так как основной интерес или предмет конфликта уже не находится в экономической сфере (сфере подсистем целерационального действия). Более того, этот конфликт – не только латентный по своей сути, но и «умиротворенный», так как «система позднего капитализма в [...] значительной степени определена сохраняющей лояльность масс наемного труда политикой возмещения ущерба, то есть политикой предотвращения конфликтов» (с. 93). Иначе говоря, если переложить это высказывание с жутковатого языка перевода на более или менее внятный русский язык, наемные рабочие при капитализме умиротворены, им компенсирован тот ущерб, который наносит наемный труд их здоровью и благополучию, и потому они политически лояльны. В свою очередь, политическая лояльность трудящихся масс является основанием для того, чтобы капитализм сохранялся и его подсистемы рационального действия продолжали функционировать.

Далее, научно-технический прогресс становится основанием *всякой* идеологии, и поэтому об идеологии мы можем говорить также с определенной долей условности. Поскольку «научно-техническая» идеология затрагивает категории, касающиеся человеческого рода в целом, то, с одной стороны, идеология, держащаяся на принципах технократического сознания, «менее идеологическая» в традиционном смысле слова, но с другой стороны, проблема освобождения от идеологии становится неразрешимой, так как это речь идет уже не об интересах социально-экономического класса, но о чем-то, что присуще человеческому роду в целом. Освободиться от идеологии значило бы освободиться от определенной антропологической конструкции.

Следовательно, необходимо рассматривать иным образом и «освобождающую силу» рационализации. Освобождение в таком случае возможно, только если рационализация на уровне так называемых подсистем целерационального действия (где научно-технический прогресс уже занял доминирующие позиции и диктует дальнейшее направление развития) не перейдет в рационализацию на уровне институциональных рамок, регулирующих коммуникативное действие. Хабермас выделяет два уровня рационализации. Первый уровень – рационализация сверху – касается подсистем целерационального действия, второй – рационализация снизу – относится к институциональным рамкам. Именно на уровне интеракции возможна (или необходима) «публичная, неограниченная и свободная от господства дискуссия о приемлемости и желательности ориентирующих в действии основоположений и норм в свете социокультурных обратных воздействий прогрессирующих подсистем целерационального действия» (с. 110). Таким образом, рационализация на одном уровне должна соответствовать рационализации на другом.

---

<sup>4</sup> Здесь мы можем снова посетовать на качество перевода. Очевидно, что не техника превратила науку в производительную силу, а взаимозависимость научных исследований и техники, но выражено это неловко и двусмысленно. – *Прим.ред.*

Парадокс заключается в том, что на вопрос о возможности подобного развития, Хабермас не в состоянии дать хоть какой-то удовлетворительный ответ. Это принципиально невозможно. И вообще ответ на вопрос о том, возможно реализовать рационализацию на всех уровнях, можно получить лишь в ситуации «неограниченной коммуникации относительно целей житейской практики, тематизации которых поздний капитализм, структурно зависящий от деполитизированной общественности, всячески сопротивляется» (с. 112).

В заключение Хабермас обращается к анализу групп учащихся и студентов, положение которых обусловлено тремя моментами.

Во-первых, студенты представляют собой группу, чьи интересы не могут быть удовлетворены существующими системами компенсаций. Во-вторых, основания легитимации, предлагаемые в качестве доминирующих, подвергаются сомнению со стороны студенческих активистов. В большей степени это касается студентов, обучающихся на факультетах социальных наук или филолого-исторического профиля, поскольку они «обладают стойким иммунитетом, потому что как на одних, так и на других факультетах – хотя по разным мотивам – первичный опыт собственной научной работы не согласуется с технократическими основоположениями» (с. 114). И, наконец, в-третьих, у студентов борьба сосредоточена не вокруг «увеличения доходов и свободного времени, а скорее вокруг «самой категории “компенсации”» (с. 115). По мнению Хабермаса, должен появиться повод в виде «неразрешимой системной проблемы», который позволит активным студентам стать политической силой. В качестве гипотезы он предполагает, что в конечном счете конфликт возникнет между статусами, которые присваиваются в обществе, и «механизмом оценки индивидуальных достижений». Другими словами, усложняющаяся технократическая структура не позволит однозначно выявить связь между ними.

Вернемся к началу рассуждений Хабермаса и подытожим анализ. Предлагаемое Маркузе расширение понятия «рационализация», которое ввел Вебер, влечет за собой проблему релятивизации рациональности. Наука и техника, выступающие как выражение этой рационализации, требуют, в свою очередь, «революционализации» (для дальнейшего освобождения), но это невозможно. Следовательно, необходимо рассмотреть с другой точки зрения само понятие «рационализация»; выделить в нем несколько уровней, чтобы обозначить «свою», специфическую рационализацию для институциональных рамок и subsystem целерационального действия. Субъектом «борьбы» за такую рационализацию (особенно по отношению к институциональным рамкам) является активное студенчество, которое, напомним, к моменту написания книги заняло «революционные позиции», до этого приписываемые пролетариату. Иными словами, сохраняя общее направление, присущее марксизму, Хабермас пытается заново поставить классические вопросы классовой борьбы и идеологии в условиях позднекапиталистического или, по его терминологии, технократического общества, в котором главными производительными силами стали наука и техника.

Остается только понять, почему именно сейчас, спустя почти 40 лет, книга издана на русском языке, в то время как другие труды (возможно, более ожидаемые) остались непереуведенными? Можно, конечно, найти соответствующие околополитические референции в нашей жизни, для которых Хабермас с его идеей «студенческого спасения» кажется сегодня очень актуальным. Несколько смущает то, что перевод и издание работ Хабермаса в целом носит несистемный характер. Так, до сих пор не переведен его труд «Теория коммуникативного действия», идеи которого так или иначе транслированы в других его работах (в рецензируемом сборнике мы можем обнаружить зачатки этих идей) и в фрагментах монографий российских исследователей.

Попытаемся найти ответ на поставленный вопрос в текстах Хабермаса. Его идеи относительно роли науки и техники в обществе, применительно к нынешней ситуации кажутся сомнительными. Разумеется, все мы одинаково зависим от достижений науки и техники. Но очевидно, что наука уже давно занимается вещами, которые стали недоступны

для понимания человека, не включенного в процесс «производства» научных фактов. И дело не в обмане или фальсификации.

Наука и техника вновь оказались по разные стороны; техника практически сама способна развиваться и быть независимой от научных исследований (как в естественно-научной, так и в гуманитарной сферах). Более того, можно обнаружить примеры «отехниченной» науки, например, в Южной Корее, где большинство научных исследований подчинено не каким-то внеположенным исследовательским задачам, а корпоративным запросам предприятий. Показательной в этом отношении является ситуация в гуманитарной сфере, когда факультеты, на студентов которых Хабермас возлагал надежды, выпускают не ученых-исследователей, а именно «прикладников», имеющих определенные навыки для осуществления технических операций. Тем самым «необозначенный» разрыв может вполне легко быть осуществлен, и это не приведет к исчезновению науки или техники. Во многом они стали достаточно влиятельной идеологией, но уже вполне традиционной. В этом ключе работа Хабермаса выглядит, конечно, несколько устаревшей, но позволяет проследить развитие ситуации.

И, тем не менее, появление книги на русском языке – безусловно, событие. Для занимающихся социологической проблематикой рациональности, для интересующихся критической теорией, в целом. Подчеркнем еще раз, что в центре рассуждений Хабермаса находится проблема, без которой немислимо рассуждение о современности. Роль науки и техники, рассмотренная автором с критической позиции, редко оказывается в фокусе внимания исследователей, и поэтому книга может быть полезна, в первую очередь, для социологов науки и техники.

В заключение хотелось бы отметить работу художника, который поместил на обложку фигуры ученых в белых халатах. Один из них держит в руке прибор, по всей вероятности, измеряющий уровень радиации, – дозиметр, направленный на название книги «Наука и техника как “идеология”». Может быть, таким образом воспроизводится опасение Хабермаса, что в позднекапиталистическом обществе, в эпоху научно-технического прогресса всякая коммуникация относительно оснований этого общества становится невозможной в силу непреодолимых ограничений коммуникации. Но столь ли важно и актуально это предупреждение для современного читателя?

## РЕТРОСПЕКТИВА

*Виктор Вахштайн\**

### **Памяти Ирвинга Гофмана**

Представьте на минуту, что привычный для нас обиход научной коммуникации (включающий написание статей, выступления на конференциях, присутствие на защитах и следующих за ними банкетах) – не унылая фабрика по производству академической солидарности и не арена ожесточенной борьбы за символические ресурсы, а *сцена*, на которой ставится любительский спектакль сомнительного качества. Режиссер куда-то исчез, звезды сами пишут себе монологи, рабочие произвольно меняют декорации, актерские труппы состязаются в мастерстве, компенсируя недостаток публики избытком исполнителей. Театр абсурда? Но даже у абсурда есть своя логика. Людьми в этом герметичном мире сцены движет не стремление к достижению собственной выгоды и не вбитые в них социализацией установки, а непреодолимое стремление к самовыражению, представлению себя другим в ореоле исполняемой роли (так называемая «экспрессивная интенция»).

Однако для поддержания в зрителях специфической иллюзии реальности одной потребности в самовыражении и референции к собственному «Я» исполнителя мало. В монологах должны мелькать имена, события, «лейблы» (лучше всего «школы» и «направления»), латинизмы и оригинальные термины в скобках. На худой конец – цифры, доли и корреляции. Так исполнение приобретает магическое свойство репрезентативности: за слоем «выражения» (Ausdruck) обнаруживается слой «указания» (Anzeichen), игра актера не просто раскрывает зрителю сокровенные мысли автора, но придает этим мыслям дополнительный вес за счет пробуждения в памяти зрителя известных имен, событий, терминов и обстоятельств. Таким образом, обиход научной коммуникации требует от коммуницирующего одновременно навыков «управления впечатлениями» (пласт выражения) и «менеджмента в сфере памяти» (пласт указания).

Написание текста в рубрику «Ретроспектива» также предполагает владение подобного рода техниками напоминания и ассоциации. Самая надежная из них – отсылка к круглой дате, учредительному событию, юбилею, который устами исполнителя-аниматора настойчиво взывает к коллективной памяти. Итак...

...В 2007 году исполняется семьдесят пять лет со дня рождения и двадцать пять лет со дня смерти Ирвинга Гофмана, выдающегося исследователя повседневной жизни, классика мировой социологии, создателя теорий социальной драматургии и фрейм-анализа.

Фундаментальная теория – это прежде всего некоторый ресурс воображения. Центральная характеристика теоретической конструкции – «представимость» *мира ее средствами*. Наука, по справедливому замечанию Хайдеггера, «...сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета ее способом представления» [9], а потому пополнение арсенала способов представления, техник воображения и мышления – особая область теоретической работы.

Ирвинг Гофман никогда не занимался всерьез изучением обихода научной коммуникации (лишь в порядке исключения: несколько ироничных абзацев о презентации президентских посланий в его собственном президентском послании и не менее ироничный

---

\* Вахштайн Виктор Семенович – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ ГУ-ВШЭ.

© Вахштайн Виктор, 2007.

© Центр фундаментальной социологии, 2007.

анализ устройства лекционного фрейма в лекции «Лекция»). И все же социологу нетрудно представить обиход науки в социально-драматургической перспективе благодаря инспирирующей театральной метафоре, предложенной Гофманом для изучения повседневной жизни. Уподобление социального мира театральному представлению (с авансценой и кулисами, исполнителями и публикой, секретами мастерства и правилами «хорошей игры») укоренилось как средство социологического воображения именно благодаря драматургическому анализу.

О влиянии Гофмана на социологическое воображение ярко свидетельствует та легкость, с которой исследовательская оптика его теорий «наводится на цель»: даже если под прицелом оказываются они сами. Это отличительное свойство всех гофмановских аналитических конструкций, выстроенных на фундаменте иронии, рефлексии и способности схватывать в теоретических построениях интуиции повседневного опыта<sup>1</sup>.

... **Ирвинг Мануэль Гофман** родился в канадском городе Мэнвилль 11 июня 1922 г. Его родители, еврейские иммигранты из Украины, хотели видеть сына инженером-химиком и после окончания технической школы Св. Джона в 1939 г. Гофман поступил на химический факультет Университета Манитобы. Однако через несколько лет он вопреки воле родителей бросает обучение ради увлечения своего детства – кино – и перебирается в Оттаву, где в 1943-1944 гг. работает в Национальном комитете по кинематографии. (Любопытно, что единственная сестра Гофмана, разделившая с ним любовь к театру и кинематографу, стала впоследствии популярной канадской актрисой.) Приобретенный за эти два года опыт позднее окажется востребован им при создании теории фреймов – в исследовании организации повседневных взаимодействий Гофман уверенно ссылается на теоретиков кинематографии: В. Пудовкина, Б. Успенского, Б. Балаша.

Однако поначалу Гофмана привлекает не теория кинематографа, а практика «преображения» обычных атрибутов социальной жизни на экране. Обычных – потому что молодой Гофман занят в производстве рекламных роликов. Здесь нет панорамных сцен и дорогих декораций, зато в кадре – избыток предметов потребления и повседневного обихода. Вернее, предметов, *имитирующих* предметы потребления и повседневного обихода. Например, чтобы кружка с пивом на киноэкране выглядела как кружка с пивом, в нее следует налить не пиво, а глицерин, щедро добавив взбитой пены для бритья. Если же в нее налить «реальное» пиво – кадр получится «неубедительным»: при переходе от одного порядка реальности (повседневный мир) к другому (мир кинематографа) граница убедительного/неубедительного смещается. А потому кружка с глицерином – это «как бы» кружка с пивом, ее иконический знак, визуальная репрезентация, которая не может быть заменена самим референтом. (По справедливому замечанию В.Э. Мейерхольда, нарисованный на полотне портрет не станет убедительнее, если вырезать из него нос и заставить позирующего художнику человека просунуть свой собственный нос в образовавшееся отверстие.) В теории фреймов Гофман назовет это отношение *транспонированием*, пока же, работая в комитете по кинематографии, он впервые задумывается о проблеме связи «изображения» и «изображаемого» – проблеме, которая проходит красной нитью через все его работы.

Там же, в кинокомитете, Гофман знакомится с социологом Дэннисом Ронгом. Под его влиянием он поступает в Университет Торонто на факультет социологии и

---

<sup>1</sup> Последнее предложение в этом абзаце иллюстрирует нехитрый ход «переключения»: описывая социальную драматургию, мы экстраполируем свое описание сначала на весь гофмановский стиль теоретизирования, а затем и на характер самого Гофмана как теоретика. Биографам такой прием позволяет переходить от «выражения» к «указанию», маневрируя между творчеством автора, его личностью и исполнением собственной теоретической партии.

антропологии. Получив в 1945 г. диплом бакалавра, Гофман принимает решение продолжить образование в США и подает заявление в магистратуру знаменитого Чикагского университета.

Атмосфера послевоенного американского общества: эйфория победы, намечающийся экономический рост, молодые люди в поношенной униформе на улицах. Чикагский университет лихорадит от наплыва ветеранов, поступающих по «военным льготам». Количество студентов и магистрантов выросло в несколько раз, у профессоров не остается времени заниматься со своими дипломниками и аспирантами.

В этой среде Гофман долго не может себя найти и учится весьма скверно. Отношения с однокурсниками и преподавателями не складываются. (За язвительный характер, неуживчивость и сарказм однокурсники прозвали его «маленькой занозой».) На фоне стремительных социальных изменений некогда знаменитый факультет выглядит архаично, однако последнему поколению социологов Чикагской школы – к которому не без гордости относит себя Гофман – передается интерес к исследованиям повседневного мира, обнаружению в слое обыденного и очевидного новых тем социологического анализа. Впрочем, сам этот анализ, по воспоминаниям Гофмана, весьма эклектичен, но эклектика в Чикаго – скорее элемент исследовательского стиля, нежели следствие недостатка методологической рефлексии:

*В 40-х, когда я был в Чикаго, можно было сочетать множество различных вещей: экологию, исследования социальной организации, классовый анализ с Уорнером и т.п. Но позже, когда Колумбийский университет взял верх и стал ведущим университетом – в основном благодаря Лазарсфельду – лазарсфельдовская методология начала доминировать в американской социологии... Затем Чикагский университет раскололся на две группировки: люди, которые отвергали количественные методы и люди, которые отвергали качественные. Однако в середине 40-х все делали все... [23, p.225]*

Любопытно, что Гофмана на этапе учебы не захватывают идеи бурно развивающегося в этот период символического интеракционизма, которому на какое-то время суждено было стать «гражданской религией» факультета социологии Чикагского университета. (Хотя впоследствии Гофман неоднократно причислялся к интеракционистскому подходу авторами многочисленных учебников.) Из социологов-классиков Гофману наиболее интересными кажутся работы Дж. Г. Мида, А.Р. Рэдклифа-Брауна, Э. Дюркгейма и М. Вебера. Из современников – У. Уорнера и Э. Хьюза.

Собственно, благодаря Эверету Хьюзу и Уильяму Уорнеру Гофман начинает втягиваться в исследовательскую деятельность. Хьюз, канадец по происхождению, – один из наследников традиции Р. Парка, основатель «городской этнографии», внесший заметный вклад в социологию профессий. На семинарах Хьюза Гофман впервые слышит выражение «тотальный институт», ставшее впоследствии центральным концептом в его исследовании психиатрических клиник [5]. Позднее, в интервью Гофман свяжет влияние, которое оказал на него Хьюз, с традицией социальной психологии Дж. Мида:

*...мой настрой [в отношении исследовательской практики] сформировался в Чикаго, где была сильна традиция Джорджа Герберта Мида подводить социально-психологическое обоснование под всякое исследование. Отсюда можно двигаться в любом направлении; одно из них развил Эверет Хьюз: что-то вроде социологии профессий и городской этнографии. И то, чем я занимался еще несколько лет назад – прежде, чем обнаружил нечто более интересное для себя в социолингвистике – было версией городской этнографии и мидовской социальной психологии... Так что, если мне все же нужно наклеить на себя «лейбл»,*

*«хьюзовская социология» была бы более подходящим определением, чем «символический интеракционизм».*

*Моя идеологическая позиция такова: то, что я делаю, – это структуральная социальная психология, которая естественна для социологии [23, p.214-217].*

Если социолог-этнограф Э. Хьюз стал духовным наставником Гофмана, то социальному антропологу У. Уорнеру Гофман обязан темой своей магистерской диссертации: «Некоторые характеристики реакций на изображенные ситуации». Изучая с помощью теста тематической апперцепции аудиторию популярного в 40-х годах радиосериала «Большая сестра», Гофман подражает уорнеровскому исследованию восприятия «мыльных опер» домохозяйками. Впрочем, магистерская работа (по оценке самого Гофмана) оказалась неудачной, ее результаты им никогда не были опубликованы. Тем не менее при подготовке диссертации на степень доктора философии Гофман вновь обращается к сюжету, заимствованному у Уорнера. Вдохновленный легендарным уорнеровским исследованием городка Янки-Сити (г. Ньюберипорт, Массачусетс) Гофман ставит перед собой задачу детального описания повседневного поведения жителей небольшой и уединенной общины [8]. В 1949 г. он под видом американца, интересующегося сельским хозяйством, отправляется на шотландский остров Анст (Шетландский архипелаг). Впрочем, незнание сельского хозяйства выдает его с головой, местные жители начинают подозревать в нем советского шпиона.

В общей сложности Гофман проводит на острове одиннадцать месяцев между 1949 и 1951 годами. Дорабатывать диссертацию он уезжает в Париж, где погружается в гущу европейских философских дискуссий. (Написанные им в 50-х гг. работы изобилуют примерами, заимствованными у Ж.-П. Сартра и С. де Бовуар.) Вернувшись в США спустя два года, Гофман женился на Анжелике Шоэт (двадцатитрехлетней студентке факультета психологии), защитил диссертацию (по общему мнению, не слишком успешно) и стал отцом – в 1955 г. у него родился сын Том...

Гений У. Уорнера находил опору в его способности к последовательному и «тотальному» антропологическому наблюдению, позволившему проанализировать в единой понятийной сетке специфику классовой организации сообщества, межпоколенческой мобильности, повседневных ритуалов, пространственного размещения, резидентальных различий, политической организации, легитимированных нарративов, и т.д. Напротив, гений И. Гофмана – в умении сосредоточиться на отдельных, одновременно очевидных и незаметных, аспектах повседневной жизни небольшой общины, обнаружив в них проявления универсального социального порядка. Для Гофмана таким аспектом становятся распространенные среди островитян *практики «представления себя другим»*. В этих практиках, доказывает Гофман, находит выражение человеческое стремление к управлению впечатлениями о себе (impression management).

*Когда к местному жителю [уроженцу Шетландских островов] заглядывает на чашку чая сосед, последний, проходя в дверь дома, обычно изображает на лице, по меньшей мере, подобие теплой ожидаемой улыбки. При отсутствии физических препятствий вне дома и недостатке света внутри его обычно имеется возможность наблюдать приближающегося к дому гостя, самому оставаясь незамеченным. Нередко островитяне позволяли себе удовольствие любоваться, как перед дверью гость сгоняет с лица прежнее выражение и заменяет его светски-общительным. Однако некоторые посетители, предвидя соседский экзамен, машинально принимали светский облик на далеком расстоянии от дома, тем обеспечивая постоянство демонстрируемого другим образа [6, с.39].*

Наиболее явственно механика производства образов и управления впечатлениями проступает в театральном представлении: усилия всех исполнителей – а также декораторов, гримеров, рабочих сцены и режиссера – сосредоточены на поддержании некоторого общего «определения ситуации» (ключевой термин символического интеракционизма, который Гофман использует весьма вольно). Так рождается драматургический анализ – анализ повседневных взаимодействий в логике и метафорике театрального представления.

Свою первую книгу «Представление себя другим в повседневной жизни» (1956) Гофман начинает словами:

*Эта книга представляется мне чем-то вроде учебника, где подробно разбирается один из возможных социологических подходов к изучению социальной жизни, особенно той ее разновидности, которая организована в ясных материальных границах какого-либо здания или заведения... Подход, развиваемый в данной работе, – это подход театрального представления, а следующие из него принципы суть принципы драматургические [6, с.29].*

Благодаря «Представлению себя другим» понятия «исполнения», «реквизита», «труппы», «переднего и заднего плана», «веры в исполняемую партию», «выхода из роли» стали инструментами социологического анализа повседневного управления впечатлениями. В итоге, театральное представление оказывается источником еще нескольких инструментальных теоретических метафор, задающих перспективу исследования повседневной социальной жизни, конституирующих оптику ее изучения: «место как сцена», «общение как демонстрация», «повседневные артефакты как реквизит».

Драматургическая оптика покоится на различении «изображаемого» и «изображения», того, что «представлено», и того, что есть «на самом деле». Особый драматургический взгляд отличает и более ранние работы Гофмана, например, мы обнаруживаем его в статье «Символы классового статуса» [7] («на самом деле» это эссе, написанное им еще в Чикагском университете в качестве отчетной работы по курсу Эрнеста Берджесса, в 1951 г. опубликовано Британским социологическим журналом). Классовый статус – «настоящая» характеристика индивида – недоступен прямому наблюдению окружающими, однако «считывается» через наблюдаемые маркеры: одежду, сорт табака, лексику, прическу, украшения. Именно в силу скрытого, латентного характера «подлинного» качества, его изображения становятся объектами манипуляций, имеющих своей целью либо максимально подчеркнуть его, либо скрыть или вовсе «подделать». В 1953 г. в журнале по психиатрии публикуется статья Гофмана «Как привести жертву в чувство. Некоторые аспекты адаптации к неудаче»<sup>2</sup>. В ней автор подробно разбирает техники, используемые уличными мошенниками для того, чтобы произвести на жертву впечатление, лишив ее желания идти в полицию. Задача мошенников – переопределить ситуацию и навязать жертве новое определение. Это исследование также организовано в рамках драматургической гипотезы о несовпадении изображения и изображаемого, подлинной и демонстрируемой реальности.

Книга «Представление себя другим в повседневной жизни» стала социологическим бестселлером и была переиздана уже через три года после первой публикации. Мало кто обратил внимание на небольшое дополнение, внесенное автором при переиздании. «Язык и маски сцены отбрасываются, – добавил Гофман в заключительной части. – Настоящее исследование на самом деле не интересовали элементы театра, которые проникают в повседневную жизнь. Его интерес был сосредоточен на структуре социальных контактов,

---

<sup>2</sup> Г.С. Батыгин предложил перевести название этой статьи – в оригинале «On Cooling the Mark Out. Some Aspects of Adaptation to Failure» – как «Трезвое отношение к видимостям» (См. [2]). Х. Абельс в переводе на немецкий использовал выражение «Хладнокровная разметка» [1]. Однако и в том и в другом случае не передается акцент на «приведении в чувство» (cooling out) «жертвы» (the mark). Слово «mark» заимствуется из сленга уличных преступников и дословно переводится как «лох», «кинутый». Гофман намеренно использует жаргонную лексику в названии статьи. В этом проявляется его приверженность традициям городской этнографии, маскирующейся под наивное, атеоретичное описание.

непосредственных взаимодействий между людьми... Ключевой фактор в этой структуре – поддержание какого-то единого определения ситуации» [6, с.302].

Отход Гофмана от театральной метафоры и принципов социально-драматургического анализа начинается именно тогда, когда эти принципы обретают популярность. На тот же период – начало 60-х годов – приходится и взлет академической карьеры создателя социальной драматургии.

В 1962-м Гофман стал профессором университета Беркли, куда четырьмя годами ранее его пригласил преподавать отец-основатель символического интеракционизма Герберт Блумер. Еще до переезда в Беркли Гофман задумывает исследование по социологии психиатрии: с 1955 г. он числится ассистентом профессора Эдварда Шиллза и проводит серию полевых наблюдений в вашингтонском госпитале Св. Элизабет (где работает «под прикрытием» помощником старшего физрука). В Беркли он продолжает заниматься этой темой: предмет его интереса – «моральная карьера» душевнобольного пациента, распорядок жизни «тотального института», процессы «стигматизации» в стенах лечебного заведения.

В исследовательской оптике, разработанной Гофманом, «безумие» напрямую связано с «местом». Место – это институционально оформленный «локус производства» душевной болезни. На идее социального производства безумия выстроена и теория девиации, предложенная Гофманом в книге «Стигма» [17].

«Безумие места» – так называется одна из последних работ Гофмана, посвященная исследованию психиатрических клиник [13]. К моменту ее публикации тема социологии душевных болезней в гофмановских текстах приобретает особое звучание: в 1964 г. после продолжительного психического расстройства покончила с собой жена Гофмана Анжелика. Сам Гофман, по свидетельствам людей, близко знавших его, страдал патологической склонностью к азартным играм. Он весьма успешно играл на бирже и далеко не столь же успешно – в казино. (Страсть к игре сочеталась в нем со вспыльчивостью и неуравновешенностью характера: например, в Манчестере, куда он приехал читать лекции, Гофман был задержан местной полицией за драку в игровом клубе; и это далеко не единственный прецедент такого рода.)

Со склонностью к азартным играм Гофман борется собственным «проверенным способом»: он делает их предметом социологического анализа. Задумывая проект исследования казино как мест «производства азарта», он прошел курсы подготовки на крупье-блэкджекера в одном из самых крупных игровых заведений Лас-Вегаса – «Station Plaza Casino». Но этой гофмановской разработке не суждено было осуществиться; проект остался в черновиках и набросках, хотя к идее азартной игры как к теоретической метафоре исследования социальной жизни Гофман прибегал затем неоднократно.

По мере обращения к теории игр и иным ресурсам описания повседневных взаимодействий Гофман отдаляется от драматургического анализа. Если некоторые положения социальной драматургии и близки символическому интеракционизму, то увлечение антропологическими исследованиями обыденных «ритуалов», обнаружение «стратегического слоя» в повседневной коммуникации и стремление к формализации языка микросоциологии – тенденции, проявившиеся в творчестве Гофмана за время его пребывания в Беркли, – отдалили его от символических интеракционистов. (Неудивительно, что впоследствии именно из лагеря бывших соратников на него обрушился сокрушительный поток критики [10, 15].)

На протяжении долгого времени никакая другая «большая теория» не предлагается им взамен социальной драматургии. Гофман словно «пробует на вкус» самые разные

теоретические разработки, пытаясь синтезировать новую перспективу исследования. Зачастую этот поиск выглядит крайне эклектичным из-за гофмановского коронного приема – радикального смешения конечных словарей описания социальной жизни. На страницах его текстов понятия из словаря азартных игр («ставка», «шанс», «пари», «джек-пот», «блеф») соседствуют с традиционными социологическими определениями и заимствованиями из разговорного языка или сленга («прикид», «жертва», «сборище», «манера», «лицо»), которые из-за такого соседства приобретают статус концептов. Благодаря смешению рождаются новые метафорические конструкции, прокладываются новые каналы терминологического импорта – через них в язык социологического описания проникают юридическая, шахматная, анимационная и криптографическая терминологии, выражения секретных агентов, дипломатов, крупье и уличных аферистов.

Другая отличительная черта гофмановского теоретизирования в том, что используемые им метафоры *совместимы*, но не *согласованы*. Совместимость – это способность формировать общий образ. Например, теоретические метафоры «взаимодействие как азартная игра» и «выбор сценария поведения как стратегическое действие» совместимы, они позволяют лучше понять, как устроена повседневная коммуникация. В то же время две эти метафоры несогласованны – они не соотнесены с более общим концептом. Поэтому у Гофмана нет своей «большой базовой метафоры», которыми изобилует социологический дискурс: «общество как организм», «общество как система», «общество как конструкция», «социальная жизнь как конфликт», «социальная жизнь как текст» и т.д.<sup>3</sup> Используемые им концепты не образуют общей рамки теоретизирования, потому что встроены в разные метафорические ряды. Они отсылают не друг к другу, а к иным концептам и доконцептуальным интуициям, которые локализованы за гранью собственно социологической коммуникации и становятся доступны социологическому рассуждению только благодаря метафорам.

Указание на метафорическую концептуализацию позволяет объяснить истоки «миграции понятий» гофмановской социологии, частое пересечение ими границ предметных и дисциплинарных областей. В этом, видимо, кроется причина маргинальности теорий Гофмана: метафорическая концептуализация имеет вид «X как Y», где собственно социологическим предметом, требующим осмысления, является «X», а «Y», благодаря которому «X» становится доступным социологическому исследованию, не принадлежит множеству социологических концептов. Отсюда смещение внимания – уход в теорию игр («социальная жизнь как азартная игра»), в теорию кинематографа («социальная жизнь как совокупность скадрированных и смонтированных отрезков деятельности»), в театральное искусство («социальная жизнь как управление впечатлениями») и т.д. Возможно, поэтому тексты Гофмана до сих пор вызывают сомнения в дисциплинарной принадлежности их автора.

Период работы в Беркли – вероятно, самый продуктивный для Гофмана-теоретика. Он находит для себя новый ресурс концептуализаций в социолингвистике, теории речевых актов и философии обыденного языка. С лингвистом и философом Джоном Серлем он общается гораздо активнее, чем со своими коллегами по факультету: Сеймуром М. Липсетом, Кингсли Дэвисом, Нэйлом Смелзером, Натаном Глэйзером.

В 1966 г. Гофман проводит свой очередной «академический год» в Гарварде, где завязывает отношения с Томасом Шеллингом, экономистом, исследователем конфликтов (спустя 45 лет, в 2005 г., за цикл исследований «стратегического поведения конфликтующих сторон» [22] Т. Шеллинг будет удостоен Нобелевской

<sup>3</sup> Исключение здесь составляет первая книга Гофмана «Представление себя другим», где последовательно разворачивается театральная драматургическая метафора («социальное взаимодействие как театральное представление»).

премии по экономике). Гофман подолгу обсуждает с ним конститутивную природу социальных правил – будь то «правила игры» или «правила языка». Эти беседы затем найдут отражение в книге И. Гофмана «Стратегическое взаимодействие» («Strategic interaction»). На какую бы область знания ни был обращен его взгляд – психологию, лингвистику или экономику, – Гофман обнаруживает в ней продуктивные концептуальные построения, задающие новые перспективы исследования привычных для микросоциологии феноменов.

Интерес к речевым аспектам повседневного взаимодействия передается его студентам Харви Саксу и Эммануэлю Щеглофф, будущим создателям «конверсативного анализа» (conversational analysis, CA). Задача, которую ставит перед собой это направление – обнаружить в самой структуре коммуникации (в «диалогической пристройке» говорящих друг к другу, в чередовании «партий», в жестовом сопровождении речи) основания социального порядка, – была сформулирована не без влияния Гофмана; хотя и заметно позже. Позже, потому что отношения у Гофмана со своими студентами не складываются – каким бы сильным ни было его интеллектуальное воздействие, он оказывается весьма нетерпимым и «жестким» научным руководителем (одна из причин, по которой у него были ученики, но никогда не было своей «школы»). Сакс в конечном итоге делает выбор в пользу другого «культового» преподавателя, Гарольда Гарфинкеля, и конверс-анализ приобретает свои очертания как исследовательское направление уже в лоне этнометодологии.

За годы работы в Беркли Гофман опубликовал несколько книг («Поведение в публичных местах: заметки о социальной организации сборищ», «Стратегическое взаимодействие», «Отношения на публике: микроисследования общественного порядка») [12, 16, 18], а также около десятка статей; большая их часть была издана в 1968 г. в сборнике «Ритуал взаимодействия» [14]. Параллельно с этим он работает над фундаментальным трудом, которому суждено было стать его *Opus Magnum*, основанием теоретической программы «позднего Гофмана» – «Анализом фреймов». На его создание ушло около десяти лет.

Фрейм – понятие, услышанное Гофманом впервые в 50-х годах на лекции Грегори Бейтсона, психолога, антрополога, этолога, когнитивиста. Бейтсон попытался синтезировать идеи феноменологии и прагматизма с достижениями теоретической логики (теорией логических типов Б. Рассела), лингвистики (гипотеза лингвистической относительности Уорфа-Сепира) и «когнитивной революции» (исследования коммуникации в кибернетическом ключе). В его работе «Теория игры и фантазии» [3] термин «фрейм» служит одновременно для указания на контекстуальность некоторого действия и для определения структурных особенностей повседневной коммуникации. Важнейшей из таких особенностей является использование метакоммуникативных и металингвистических сообщений.

Так, наблюдая за поведением обезьян в зоопарке Сан-Франциско, Бейтсон обнаружил и описал характерные метакоммуникативные знаки, которые использовали особи, играющие в драку. Сама возможность игры существует только благодаря сообщению «это игра», которым обмениваются взаимодействующие. Данное сообщение метакоммуникативно – оно требует взгляда извне взаимодействия, указания на его контекст. «Сигналы, – пишет Бейтсон, – которыми обмениваются в контексте игры, ... парадоксальны дважды: во-первых игривый прикус не означает того, что означал бы замещаемый им укус, а во-вторых – сам укус вымыслен. Играющие животные не только не вполне имеют в виду то, что сообщают, но также и сама коммуникация происходит по поводу того, что не существует» [3, с.210].

Мир игры организован по своим собственным правилам: в нем реально то, что не существует «на самом деле». Однако реальность эта «заклучена в скобки», а, следовательно,

требуется действие расстановки скобок – действие, утверждающее границы контекста. В терминологии Бейтсона таковым действием является «сообщение о границах», «уговор», «инструкции», указание на то, что все последующие действия должны восприниматься иначе, чем предыдущие. Игра, как особый контекст действия, требует предварительного уговора: «Это – игра». «Любое сообщение, – резюмирует Г. Бейтсон, – эксплицитно или имплицитно устанавливающее фрейм, в силу самого этого факта дает инструкции получателю либо способствует его усилиям понять сообщения, заключенные во фрейм» [3, с.215].

Например, в данной статье иллюстрацией трех различных типов фреймирования текста может служить способ визуального разграничения теоретических описаний, изложения событий биографического характера и цитат.

1. Когда речь идет о специфике теоретических конструкций или делается попытка прояснить то или иное понятие, текст визуально не выделяется никаким особым способом.
2. Когда от «выражения» мы переходим к «указанию» и изложение переключается из теоретического фрейма в биографический, вместе с содержанием текста меняется его оформление – отступ строки и поля.
3. Наконец, сильнее всего визуально от основного текста отграничены большие цитаты, представляющие собой обособленные текстуальные «вставки». Здесь меняется не только отступ и поля, но и кегль текста.

Три фрейма вкладываются друг в друга на манер матрешки, и эта иерархичность не является «содержательно нейтральной» (как если бы речь шла исключительно о «внешних» средствах представления текста), но отражает приоритетность и со-подчиненность режимов изложения материала. К описанным различиям форматов организации текста следует добавить пропуски строк, звездочки «\*\*\*», разбивку на абзацы, вынесение текста в сноски (а также заключение фраз в кавычки и скобки) и многие другие техники фрагментации, задающие специфический ритм коммуникативного сообщения – статьи.

Г. Бейтсон предложил два вида аналогий для описания фрейм-аналитического исследования: аналогию рамы картины и аналогию математического множества.

*Первый шаг к определению фрейма, – пишет Бейтсон, – может состоять в высказывании, что он (фрейм) является классом или ограничивает класс (множество) сообщений (осмысленных действий). Тогда игра двух индивидуумов при определенных обстоятельствах будет определяться как множество всех сообщений, которыми они обменялись за ограниченный период времени... В теоретико-множественной схеме эти сообщения будут представляться точками, а «множество» может очерчиваться линией, отделяющей их от других точек, представляющих неигровые сообщения [3, с.214].*

Если по обе стороны «границы» находятся сообщения одного «логического типа» (здесь Бейтсон апеллирует к категориальному аппарату теории логических типов Рассела), то речь идет о партикулярном фрейме («игра двух молодых орангутангов»); если же границы контекста совпадают с границами логического типа и, например, множество игровых сообщений отделяется от множества неигровых, – значит, перед нами пример метаконтекста («игра»). Эпизоды одной игры могут осуществляться в разных фреймах (имитация погони, имитация драки, имитация капитуляции), но принадлежат они общему метаконтексту. Иными словами, метаконтекст – это фрейм, охватывающий все фреймы, принадлежащие одному логическому типу.

Трудность здесь состоит в том, что аналогия, заимствованная из теории множеств, чрезмерно абстрактна и неизменно заводит все последующие рассуждения в область формальной логики. Она не дает представления о фрейме как о «реально существующем» контексте. Фрейм настолько реален, насколько распознается участниками взаимодействия

или аналитиком. Подтверждением «распознаваемости» фрейма для Бейтсона служит наличие соответствующих понятий в словаре: «игра», «фильм», «работа», «интервью» – все они отсылают к тому или иному множеству контекстуально организованных действий.

Другой способ метафорического описания фрейма – его сравнение с рамой картины. Впрочем, и такое сравнение не лишено недостатков.

*Если аналогия с математическим множеством, возможно, чрезмерно абстрактна, – заключает Бейтсон, – то аналогия с рамой картины чересчур конкретна. Концепт, который мы стараемся определить, не является ни физическим, ни логическим. Скорее фактические физические рамы добавляются к физическим картинам из-за того, что человеческим существам легче действовать в мире, где некоторые из их психологических характеристик экстерниоризированы [3, с.214].*

Бейтсоновская трактовка фрейма как относительно независимого от своего содержания контекста сообщения закрепляется в социальной теории и дает начало собственно социологическому исследованию организации контекстов повседневных/неповседневных взаимодействий. Гофман первоначально отталкивается именно от такой интерпретации. Однако у фрейма в гофмановском прочтении появляется новая черта. Фрейм определяется им и как синоним «ситуации», и как синоним «определения ситуации»; это одновременно и «матрица возможных событий», которую таковой делает «расстановка ролей», и «схема интерпретации», присутствующая в любом восприятии. Гофман находит следующий выход:

*Мы принимаем соответствие или изоморфизм восприятия структуре воспринимаемого несмотря на то, что существует множество принципов организации реальности, которые могли бы отражаться, но не отражаются в восприятии. Поскольку в нашем обществе многие находят это утверждение полезным, к ним присоединяюсь и я [4, с.86].*

Этот теоретический ход делается Гофманом с единственной целью – преодолеть «декартову пропасть» между субъектом и объектом. Фрейм у Гофмана оказывается универсальной объяснительной категорией – он и «внутри» и «снаружи», и воспринимаемое и средство интерпретации воспринятого. Социальная жизнь и схемы ее распознавания индивидом структурно изоморфны.

Фреймы организованы в системы фреймов (frameworks, гофмановское именование метаконтекстов). Среди систем фреймов «онтологическим приоритетом» обладают первичные или базовые системы фреймов, за которыми не скрывается никакая другая «настоящая» интерпретация. Первичные системы фреймов – это и есть «настоящая реальность». Однако при всей их значимости, первичные системы фреймов, составляющие фундамент мира повседневности, не находятся в центре внимания Гофмана. Его гораздо больше занимают возможности трансформации, преобразования «настоящей, живой деятельности» в нечто пародийное, поддельное, «ненастоящее». Такую трансформацию он – по аналогии с музыкальным термином – называет транспонированием. В приведенном выше примере с кружкой пива на киноэкране хорошо заметна «работа транспонирования»: чтобы кружка транспонировалась из одного сегмента реальности (мир повседневности) в другой ее сегмент (кинореклама), требуются умелые декораторы и подходящий реквизит – стеклянная кружка, глицерин и пена для бритья – иначе транспонирование окажется неудачным, и «переведенный» предмет будет выглядеть неубедительно. Возникнет чувство фальши, которое нам знакомо по неудачно транспонированным эпизодам в повседневной жизни (например, жеманное приветствие двух девочек-подростков, транспонированное из очередного сериала, или откровенно избыточный пересказ мыслей автора, транспонированных в текст рецензии). Транспонироваться могут материальные предметы, события, эпизоды деятельности, сообщения.

Гофман формулирует следующее любопытное заключение: *наибольшим «потенциалом транспонированности» обладает деятельность, сама явившаяся результатом*

*транспонирования* [4, с.143]. Так, событие «доклад на конференции» представляется «простым», нетранспонированным событием, интерпретируемым в базовой системе фреймов. Однако если содержание доклада – это произнесение вслух откровенной бессмыслицы (в духе какой-нибудь теории «антиязыка», изложенной замысловатыми «антисловами»), можно говорить о специфическом транспонировании события доклада, разрушении границ его смысловой определенности за счет перенесения в иной, неакадемический (клинический?) фрейм. Если же допустить, что докладчик – не клинически больной человек, а умелый провокатор, намеренно вызывающий негодование аудитории, чтобы привлечь к себе внимание, тогда к уже свершившемуся транспонированию прибавится еще один слой (*lamination*): провокатор изображает идиота, изображающего докладчика. Теперь предположим, что у провокатора есть сообщник, фиксирующий все проявления замешательства, возмущения или демонстрации задумчивого понимания в аудитории, а по периметру помещения расставлены скрытые камеры, обеспечивающие исследователя научных коммуникаций бесценным полевым материалом. Структура фрейма еще раз усложнится: провокатор не просто провоцирует аудиторию, изображая сумасшедшего, прикидывающегося ученым/философом; событие транспонируется в новый фрейм (не академический, но вполне «научный») – фрейм полевого эксперимента.

Двойственность, заложенная Гофманом в базовую дефиницию «фрейма», сообщает этой исследовательской категории некоторую двусмысленность, которая хорошо заметна на примере использованного нами выше определения «доклад на конференции». Определение это сходным образом применялось и к событию, и к фрейму его распознавания, т.е. к «ячейке» интерпретативной схемы. Возникающий здесь парадокс – в каком отношении находятся событие и фрейм его идентификации? – сам Гофман обходит вниманием, ограничиваясь констатацией «изоморфизма восприятия в структуре воспринимаемого». Из этой констатации, в частности, следует, что между реально свершающимися событиями и формами их идентификации наблюдателями нет «зазора» – изучая то, как люди идентифицируют события, мы получаем достоверные знания об организации самих событий. А потому исследование событийного строения социальной реальности оказывается или излишним, или невозможным: вполне достаточно анализа схем вычленения и идентификации событий. Впрочем, Гофман не делает такого заключения. К этому выводу приходит другое наследующее фрейм-анализу исследовательское направление – когнитивная социология.

Стоит обратить внимание на одно любопытное отличие исследовательской программы «позднего» Гофмана от его ранних социально-драматургических работ. Драматургическая оптика предписывает исследователю различие «настоящей» и «ненастоящей» реальности: есть означаемое (например, кружка с пивом), и есть означающее, нечто, существующее «не взаправду» (кружка с глицерином). Следует отличать игру актеров от тех событий, которые ими разыгрываются. На первый взгляд, фрейм-анализ идет по этому же пути, разводя первичные системы фреймов и фреймы «превращенных», транспонированных событий. Благодаря трансформации контекстов драка становится боксом, погоня – бегом, война – учениями, политические дебаты – инсценировками дебатов по заготовленным сценариям, а полет самолета – демонстрацией полета самолета; тогда как события в данных ситуативных контекстах связываются отношениями сигнификации. Например, событие «передислокация войск» может произойти в двух разных контекстах (фреймах): «военные действия» или «учения». Во втором случае оно будет рассматриваться как результат переключения фреймов, то есть, как знак, заместитель настоящей передислокации. Событие «Отелло убивает Дездемону» может быть частью «спектакля» или «репетиции». Второй контекст регламентирует происходящее менее жестко, не требуя от актера той самоотдачи, которая потребуется от него на премьере, потому что репетиция – это *макет* спектакля, а «репетиция убийства» представляет собой репрезентацию, призванную замещать событие «убийства Дездемоны» до премьеры.

Однако в какой мере означаемое событие само лишено знаковых компонентов? Можно ли с уверенностью сказать, что за ним уже не скрывается никакое другое, «более подлинное»

событие? Например, контекст «спектакль», очевидно, не является конечным. Событие, изображенное на сцене, может быть рассмотрено как знак изображаемого события, взятого из «непридуманной жизни». Иными словами, событие X является знаком события Y, которое, в свою очередь оказывается знаком события Z. «Когда мы считаем что-либо нереальным, – пишет Гофман, – мы иногда не учитываем, что реальность не обязательно должна быть очень уж “реальной”; с таким же успехом она может быть как инсценировкой событий, так и самими этими событиями, а может быть репетицией репетиции или репродукцией оригинального изложения. Любое из изображений может быть, в свою очередь, создано путем копирования нечто такого, что само является макетом, и это наводит нас на мысль, что суверенным бытием обладает отношение, а отнюдь не субстанция. (Бесценная авторская акварель, хранящаяся по соображениям безопасности в папке с репродукциями, оказывается в данном контексте лишь репродукцией)» [4, с.677].

Этот вывод книги оказывается решающим шагом релятивизации, разрушающим исходное различие первичных и вторичных фреймов. События повседневной и неповседневной жизни теперь неразличимы, и в каждом из них есть что-то от бодрийеровских симулякров. Неслучайно один из ярких представителей постмодернистской философии Ф. Джеймисон высоко оценил «Анализ фреймов», усмотрев в нем...

*...доказательство того, что значения в мире повседневности суть проекции структур или форм опыта. Это исследование насквозь семиотично, поскольку ставит перед собой задачу создания чего-то вроде грамматики и системы квази-синтаксических абстракций для анализа социальной жизни... В некоторых аспектах его стратегия совпадает со стратегией франко-итальянской школы семиотики, использующей метафорическое приложение лингвистических категорий к сложным культурным феноменам [19, р.44-45].*

«Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта» увидел свет в 1974 г., когда Гофман уже покинул университет Беркли. В 1971 г. он последний раз меняет место преподавания и перебирается в Университет штата Пенсильвания, где занимает кафедру социологии и антропологии им. Бенджамена Франклина. Фактически он становится самым высокооплачиваемым профессором социологии в США, зарабатывая чтением лекций порядка 30 000 долларов в год. Однако отношения с коллегами у него не складываются – как ранее не складывались они с однокурсниками, а затем – с учениками. Большую часть времени он проводит в своем кабинете, в здании университетского Антропологического музея.

В это время он завершает работу над «Анализом фреймов»: по структуре книги заметно, как социолингвистическая проблематика и вопросы организации повседневных коммуникаций в ходе работы завладевают вниманием автора сильнее, чем исходная проблема форматирования социального опыта. Неудивительно, что появление «Анализа фреймов» социолингвисты встретили с большим воодушевлением, чем социологи.

Теорию фрейм-анализа ждал холодный прием в социологическом сообществе. Для символических интеракционистов эта книга Гофмана означала его окончательный разрыв с исследованиями символически опосредованных форм повседневных коммуникаций. Для этнометодологов стала иллюстрацией банкротства и эмпирического бессилия «формальной социологии». Молодыми конверс-аналитиками была воспринята как неудачный эксперимент по скрещиванию микросоциологии с прагматикой дискурса. Впрочем, авторитет Гофмана в тот момент был столь высок, что вряд ли скептическое отношение коллег к фрейм-анализу могло ему чем-либо повредить. Признание анализа фреймов (не в последнюю очередь благодаря его востребованности в социолингвистических исследованиях) произошло позже, уже перед смертью Гофмана.

В университете Пенсильвании Гофман учит последнее поколение своих студентов. Среди них – Эвиатар Зерубавель, будущий социолог-когнитивист, автор теории когнитивного конструирования времени [24]. Он, пожалуй, единственный современный теоретик, чьи работы наследуют непосредственно фрейм-аналитической традиции исследований, заложенной Гофманом.

Все, что Гофман пишет после издания «АФ», – это развитие идей фрейм-анализа в направлении дальнейшего синтеза микросоциологии, теории коммуникации и когнитивной лингвистики. Наиболее значимые его статьи последнего периода творчества собраны в книге «Формы разговора» (“Forms of Talk”). Среди них – статья «Лекция», которая написана по материалам «лекции о лекциях», прочитанной Гофманом в Университете Мичигана (этот текст впервые публикуется на русском языке в настоящем номере «Социологического обозрения»).

В 1981 г. Гофман женился на лингвистке Джиллиан Занкофф, год спустя у них родилась дочь Элис. В том же году его избрали президентом Американской социологической ассоциации. Однако прочитать ежегодное президентское послание Гофман не успел. Он надиктовал его, лежа в больнице, куда был госпитализирован с диагнозом «рак желудка». Послание он озаглавил «Порядок взаимодействия» [5] – точно так же, как называлась последняя глава его диссертации о коммуникативном поведении островитян. Этим жестом он связал исследовательскую программу фрейм-анализа со своими ранними социально-драматургическими работами, указав на общую точку их фокусировки – исследование устойчивых интеракционных порядков в перспективе «sub specie aeternitatis», с точки зрения вечности.

Ирвинга Гофмана не стало 20 ноября 1982 г.

Событие смерти – событие абсолютное; оно ставит точку в биографическом повествовании<sup>4</sup>. Всякая попытка продолжить нарратив «о Гофмане» после фразы о его смерти автоматически помещает сказанное в жесткий фрейм некролога. Чего нам искренне хотелось бы избежать. Ведь теоретик сохраняет свое присутствие в повседневном обиходе научной коммуникации и после смерти; он становится знаком, маркером собственных теоретических конструкций и аналитических схем. Его имя отсылает к созданному им. Впрочем, Гофману с этим повезло меньше – как справедливо замечает Ч. Лемерт в своей статье «“Гофман”»: «Слово “Гофман” в памяти теоретика пробуждает рассуждения столь особые, что он вряд ли знает, как с ними поступить» [20, р.IX]. В повседневности теоретической дискуссии имя Гофмана функционирует как «плавающий знак», не привязанный к какому-либо однозначно идентифицируемому референту.

И в то же время такое «коммуникативное присутствие» ушедшего автора, его зримое влияние на ход современных дебатов создают иллюзию «вечной жизни»: разработанные им аналитические конструкции уже пущены в обращение, они могут изнашиваться и приходить в негодность от частого употребления, могут обесцениваться в результате «инфляции концептов», но «изъять» их из обихода науки, не нарушив самой логики научной коммуникации, невозможно. Так имя теоретика сохраняет свою связь с «живым настоящим» дисциплины благодаря его исследовательским разработкам. Один из студентов Гофмана, конверс-аналитик Эммануэль Щеглофф замечает:

*...я не собираюсь ни канонизировать, ни чествовать Гофмана. Скорее я пытаюсь продолжить спор с ним и таким образом сохранить критическое отношение к его идеям, которые могут и дальше приносить дивиденды. Ибо мы, безусловно, еще не закончили учиться по оставленным им работам [21, р.176].*

Данное суждение кажется нам достаточно прочной «опорой» (footing) для того, чтобы поставить здесь внешнюю, закрывающую этот текст «скобку».

<sup>4</sup> Но поскольку в структуре данного текста биографическое повествование встроено в теоретическое, в терминах самого Гофмана уместнее говорить не о «точке», а о «закрытии внутренней скобки».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абельс Х.* Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию / Пер. с нем. под общ. ред. Н.А. Головина и В.В. Козловского. СПб.: Алетейя, 1999.
2. *Батыгин Г.С.* Континуум фреймов: социологическая теория Ирвинга Гофмана // Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003.
3. *Бейтсон Г.* Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии, эпистемологии / Пер. с англ. М.: Смысл, 2000.
4. *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003.
5. *Гофман И.* Порядок взаимодействия / Пер. с англ. А.Д. Ковалева // Теоретическая социология: Антология / Сост. С.П. Баньковская. Т. 2. М.: Аспект-Пресс, 2002.
6. *Гофман И.* Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А.Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000.
7. *Гофман Э.* Символы классового статуса // Логос. 2003. №4-5.
8. *Уорнер У.* Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000.
9. *Хайдеггер М.* Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления, М.: Республика, 1993.
10. *Denzin N., Keller Ch.* Frame Analysis Reconsidered // Erving Goffman. Vol. 4 / Ed. by G.A. Fine, G. Smith. L.: Sage Publications, 2000.
11. *Goffman E.* Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. N-Y: Doubleday Anchor, 1961.
12. *Goffman E.* Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. Glencoe, The Free Press, 1963.
13. *Goffman E.* The Insanity of Place // Psychiatry: Journal of Interpersonal Relations. 1969. Vol. 32. N4.
14. *Goffman E.* Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. N-Y: Anchor, 1967.
15. *Goffman E.* A Reply to Denzin and Keller // Erving Goffman. Vol. 4 / Ed. by G.A. Fine, G. Smith. L: Sage Publications, 2000.
16. *Goffman E.* Relations in Public: Microstudies of the Public Order. N-Y: Basic Books, 1971.
17. *Goffman E.* Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall, 1964.
18. *Goffman E.* Strategic Interaction. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1969.
19. *Jameson F.* On Goffman's Frame Analysis // Erving Goffman: Vol. 4 / Ed. by G.A. Fine, G. Smith. L: Sage Publications, 2000.
20. *Lemert Ch.* "Goffman" // The Goffman Reader / Ed. by Ch. Lemert, A. Branaman. Malden: Blackwell, 1997.
21. *Schegloff E.* Goffman and the Analysis of Conversation // Erving Goffman: Vol. 4 / Ed. by G.A. Fine, G. Smith. L: Sage Publications, 2000.
22. *Schelling T.* The Strategy of Conflict. Cambridge: Harvard University Press, 1960.
23. *Verhoven J.C.* An interview with Erving Goffman, 1980 // Erving Goffman: Vol. 1 / Ed. by G.A. Fine, G. Smith. L: Sage Publications, 2000.
24. *Zerubavel E.* The Fine Line: Boundaries and Distinctions in Everyday Life. N-Y: Free Press, 1991.

## СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

### **Предисловие к работе**

Брюно Латур больше известен русскоязычному читателю как социолог науки и исследователь-конструктивист. Начиная с 1979 г., когда увидела свет его книга «Жизнь лаборатории: социальное конструирование научных фактов»<sup>1</sup> (написанная в соавторстве со Стивом Вулгаром), он активно работал над проблемой «конструктивной природы» научного знания, развивая идею «науки как системы убеждения». Книга «Мы никогда не были современными. Эссе по симметричной антропологии»<sup>2</sup> – своеобразный итог, обобщение теоретических исследований в области социологии науки и истории идей. По мере роста его популярности, имя Латура перестает ассоциироваться исключительно с этими специализированными областями знания.

Латур-философ и Латур-теоретик гораздо менее известны в России, чем Латур-исследователь и Латур-эпистемолог. Публикуемая в рубрике «Социологическое образование» (специально предназначенной для «рабочих текстов» социолога) статья «Об интеробъективности» – это фундаментальное исследование природы социального взаимодействия. Ее ключевые вопросы весьма далеки от традиционных вопросов социологии знания. Скорее, речь в ней идет о ревизии базовых социологических концептов, неспособных адекватно выразить интуицию изменчивого мира. И здесь сам текст – его строение и стиль – оказывается ценной иллюстрацией разрабатываемой Латуром стратегии взгляда.

Работы Латура не нуждаются в долгом прологе – они «говорят за себя»: подобно тому, как материальные объекты в его социальной теории эмансипированы и уравниены в правах с субъектами, латуровские тексты сами вступают в диалог с читателем. Они столь «прозрачны», что фигура интерпретатора и толкователя кажется при них неуместной. Впрочем, прозрачность эта, как часто бывает с обманчиво простыми текстами, мнимая. Что, однако, не отменяет нашего тезиса: текст рядоположен (или в терминологии самого Латура – «симметричен») читателю. Текст и читатель связаны прочной сетью отношений интеробъективности.

Что означает такое «рядоположение» текста и читателя? Прежде всего, и текст, и читатель теперь должны рассматриваться симметрично, в качестве самостоятельных действующих лиц – *актантов*. Текст говорит с читателем так же, как читатель говорит с текстом. Говорить значит действовать. Неодушевленный текст, в логике анализа, предложенной нам Латуром, наделен способностью к действию, поскольку действовать, по Латуру, значит *опосредовать* действия других.

Автор, текст, переводчик, редактор, читатель – все эти актанты опосредуют действия друг друга, все они участвуют в распределении и перераспределении «агентностей». Является ли текст послушным инструментом в руках автора? Или инертным объектом в руках переводчика? Или «чистой доской», «открытым произведением» в руках читателя, который видит в нем лишь то, что хочет/готов в нем увидеть? А может быть, напротив, автор, переводчик, редактор и читатель оказываются «заложниками» текста, диктующего им свою волю, определяющего их отношения, делающего одного – автором, другого – переводчиком, третьего – читателем? Все включенные в сеть актанты находятся «в руках» друг у друга, все служат посредниками-«медиаторами», и все в той или иной степени автономны. Таково требование «генерализованной симметрии»: объекты рядоположны субъектам.

<sup>1</sup> Latour B., Woolgar S. Laboratory life: The social construction of scientific facts. London: Sage, 1979.

<sup>2</sup> Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д.Я. Калугина. Под ред. О.В. Хархордина. СПб.: Изд. ЕУ СПб, 2006.

Говоря о текстах, мы затрагиваем лишь один – весьма специфический – вид объектов. Латур наделяет «правом голоса» любую материальную вещь, включенную в сеть интеробъективных отношений, а потому – для чистоты эксперимента – нам следовало бы включить в сеть «Автор–Текст–Переводчик–Редактор–Читатель» все материальные составляющие производства и воспроизводства текста: от компьютера Латура до сервера «Социологического обозрения». Такое расширение предмета позволило бы рассмотреть интересующие нас отношения как отношения *взаимного делегирования*.

Делегирование – основа автономии. «Дислоцируя взаимодействие посредством ассоциации с не-человеками, – пишет Латур, – мы выходим за пределы настоящего, за пределы нашего тела, мы можем осуществлять взаимодействие на расстоянии... Подобно пастуху, все, что я должен сделать, – это делегировать деревянному забору задачу сдерживания моего стада – только тогда я могу пойти поспать рядом со своей собакой. Кто действует, пока я сплю? Я, плотники и забор. Выражен ли я в этом заборе так, словно я актуализировал вне себя способность, которой я обладал в потенциальном виде? Ничуть. Забор совсем не похож на меня. Забор – это не продолжение моих рук или моей собаки. Он существует вне меня. Это самостоятельный актант.»

Текст Б. Латура «Об интеробъективности» – самостоятельный актант. Латур не «выражен» в нем, так же как не «выражены» в нем переводчик, редактор и читатель. Он «...не обладает той же длительностью, протяженностью, пластичностью, темпоральностью – короче, той же онтологией», что и автор. И, тем не менее, он онтологичен, т.е. наделен самостоятельным «бытийственным» статусом, он способен к действию, поскольку включен в запутанную, но прочную сеть отношений...

Все, что нам остается – расширить эту сеть, включив в нее читателей, которым далее и делегируется функция оценки текста.

*Виктор Вахштайн*

Брюно Латур

### Об интеробъективности\*

*Эта статья появилась благодаря моему долгому сотрудничеству с Ширли Страм и Мишелем Каллоном. Ш. Страм я обязан социобиологическими сюжетами, М. Каллону – акторами и сетями, упомянутыми здесь чуть ли не на каждой странице. Я также признателен Джеффу Боукеру за его усилия, направленные на то, чтобы сделать мою социальную теорию более понятной.*

Открытие социальной комплексности обществ приматов, отличных от *homo sapiens*, хотя и было сделано почти двадцать лет тому назад, по-видимому, еще не до конца принято во внимание социальной теорией [16; 30; 49]. Главное место заняли страстные доводы за или против социобиологии, словно была необходимость в защите социального от опасности его чрезмерной редукции к биологическому. На самом деле развитие социобиологии, как и этологии, идет в совершенно ином направлении, предполагающем распространение на животных – даже на гены – классических вопросов политической философии. Это вопросы определения социального актора, возможности рационального расчета, существования или несуществования социальной структуры, превосходящей простые взаимодействия, самого определения взаимодействия, роли власти и отношений господства, а также уровня развития интеллекта, необходимого для возникновения социальной жизни. Вовсе не будучи отстраненной от всех этих вопросов якобы торжествующей биологией, социологическая теория должна сказать свое слово и по-новому подойти к проблеме определения общества, охватив в сравнительной перспективе отличную от человеческой социальную жизнь<sup>1</sup>.

Говорить, что приматы (отличные от людей) обладают богатой социальной жизнью, значит просто утверждать, что ни один примат не может достичь какой-либо цели, не пройдя через серию взаимодействий с другими партнерами. Вместо описаний досоциальных существ, движимых исключительно инстинктами, реакциями, аппетитами и поиском непосредственного удовлетворения своих потребностей – голода, воспроизводства, власти, – новая социология обезьян приводит описания акторов, которые не могут достичь ничего из этого без обстоятельных переговоров с другими<sup>2</sup>. Простейший пример – шимпанзе, который обнаруживает богатый источник пищи, но не осмеливается продолжить ее поглощение, как только оказывается в одиночестве, позади ушедшей вперед стаи. Или возьмем самца бабуина, который не может спариться с распаленной самкой, не будучи уверенным в том, что она «пойдет ему навстречу» – речь идет о договоренности, которая должна быть достигнута в самом начале их дружбы, когда у нее еще нет течки. Поскольку в каждое действие актора вмешиваются другие и поскольку достижение собственных целей опосредовано постоянными переговорами, можно говорить об этом с точки зрения комплексности, то есть с точки зрения необходимости одновременного принятия в расчет

---

\* Впервые статья Брюно Латура «On interobjectivity» была опубликована в журнале «Mind, Culture, and Activity» в 1996. (Vol. 3. № 4). Более краткая версия этой статьи ранее вышла по-французски: Latour B. (1994) Une sociologie sans objet? Note théorique sur l'interobjectivité» в Sociologie du travail (Vol. 36. №. 4. P. 587-607). Публикуется с разрешения автора.

Данный перевод ранее был опубликован в книге «Социология вещей». Сб. статей / Под ред. В.С. Вахштайна. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. Мы выражаем признательность членам интернет-сообщества [http://community.livejournal.com/bug\\_translation/](http://community.livejournal.com/bug_translation/) за тот энтузиазм, который был проявлен ими при сверке перевода и оригинала. Прделанная ими тяжелая волонтерская работа позволила улучшить качество итогового текста – Прим. ред.

<sup>1</sup> Первую попытку см.: [36].

<sup>2</sup> См. множество описаний «фрагментированных» взаимодействий в: [49; 14].

множества переменных. В описаниях приматологов, состояние социального возбуждения, постоянное внимание к действиям других, старательное поддержание общения, макиавеллизм и стресс свидетельствуют о присутствии комплексной социальности в «естественном состоянии»<sup>3</sup>. Или, по крайней мере, такова упрощенная и отчасти мифическая версия, которая может быть использована в качестве основы для обновления социальной теории.

Социальные насекомые всегда служили средством для «калибровки» моделей в социологии людей. Эти модели описывали – по крайней мере, до появления социобиологии – типичные случаи «сверхорганизмов», исключая саму возможность постановки вопросов об индивидуе, взаимодействии, расчете и переговорах<sup>4</sup>. Влияние социологии приматов полностью противоположно. Она отказывается считать социальную структуру сверхорганизмом и мыслит только в терминах цепочки взаимодействий. Мы находим в естественном состоянии степень социальной комплексности, которая более или менее соответствует формам социальной жизни, описанным интеракционизмом. Но у приматов нет языка и почти нет технических приспособлений<sup>5</sup> – кажется, что у них нет даже представлений о самости и о моделях другого<sup>6</sup>, так что для понимания этой комплексности развитые когнитивные способности не требуются. Обнаружив в «естественном состоянии» такой высокий уровень социальности, человеческая социология чувствует себя свободной от обязательства искать социальное – вопреки давней традиции в политической философии и теориям общественного договора. Комплексное социальное взаимодействие существовало до появления человека, причем задолго.

В социологической литературе описание социального взаимодействия предполагает наличие нескольких основополагающих составляющих. Должны существовать по крайней мере два актора; эти два актора должны физически присутствовать в одном пространстве и времени; они должны быть связаны действиями, которые влекут за собой акт коммуникации; и, наконец, поведение каждого должно вытекать из изменений, внесенных поведением другого, в результате чего появляются неожиданные свойства, которые превосходят сумму исходных данных, имевшихся в распоряжении у этих акторов до взаимодействия<sup>7</sup>. В этом смысле, социология обезьян становится предельным случаем интеракционизма, так как все акторы присутствуют в одном пространстве и времени и участвуют во взаимодействиях лицом-к-лицу – взаимодействиях, динамика которых неразрывно связана с реакциями взаимодействующих. Это рай для интеракционизма; это рай и в другом отношении, поскольку вопрос о социальном порядке, по-видимому, не может быть применен к обезьянам в ином виде, нежели в терминах композиции диадических взаимодействий без каких-либо эффектов тотализации или упорядочивания. Несмотря на существование комплексных взаимодействий, по-видимому, вряд ли можно говорить о том, что обезьяны живут «в» обществе или что их действия вписаны в социальную структуру<sup>8</sup>. Вопрос о точной роли взаимодействий и их способности составлять в своей совокупности общество поставлен уже на уровне приматов – и, возможно, только на этом уровне.

Сомнения приматологов насчет существования или несуществования социальной структуры за пределами этих взаимодействий, видимо, разделили бы и сами обезьяны, будь они наделены минимальной рефлексивностью, необходимой для того, чтобы стать

<sup>3</sup> Проявления макиавеллистской проницательности см.: [12].

<sup>4</sup> Например, сравнение работы Уилсона [52], в которой он использует понятие сверхорганизма, и его же работы [53], где он отказывается от употребления этого термина, хорошо иллюстрирует произошедший поворот в социобиологии; налицо обращение к понятию индивидуального действия для объяснения композиции групп муравьев или биологических телец. Уподобление тела рынку может шокировать, но оно полезно уже тем, что позволяет обойтись без метафор социального тела, которые широко использовались со времен римской басни о частях тела, взбунтовавшихся против живота.

<sup>5</sup> По крайней мере у бабуинов; в случае с шимпанзе ситуация сложнее – см.: [41].

<sup>6</sup> См. об этом: [14; 17].

<sup>7</sup> Таковы описания взаимодействий по крайней мере со времен Ирвинга Гофмана [3].

<sup>8</sup> Об этом спорном вопросе см.: [50].

компетентным членом сообщества, а не «культурным идиотом», по выражению Гарфинкеля. Приматы должны провести серию проб, чтобы удостовериться в устойчивости эффектов коллективных действий, и это справедливо в отношении всех поведенческих паттернов, предполагающих определенную тотализацию. Решение о том, в каком направлении должна следовать стая, например, предполагает оценку действий всех всеми, независимо от исходного положения – порядок, который не дан ни одному члену сообщества и на который ни один член сообщества не может притязать как на свой собственный. То же касается и отношений господства, которые должны проверяться с течением времени, и отношений членства, которые подлежат «ремонту» после каждого, даже краткого, отделения. Поскольку результаты образования социального зависят от работы, проделываемой индивидуальными акторами, – работы, которая каждый раз повторяется заново, – можно сделать вывод о том, что социальная жизнь обезьян представляет собой рай для этнометодологии<sup>9</sup>. Социальное конструирование в буквальном смысле зависит только от усилий самих акторов, направленных на соединение различных вещей, и во многом обусловлено их собственными категориями. Каждое действие опосредовано действием партнеров, но для такого опосредования необходимо, чтобы каждый актер участвовал в конструировании «связующей общности» – изменчивой тотальности, которая каждый раз должна заново проверяться на прочность и каждый раз при помощи новых испытаний\*.

До появления серьезной социологии обезьян социология человека исходила из того, что социальная жизнь «начинается» с людей или использовала социальных насекомых – и даже полипов – для демонстрации универсальности форм объединения и вездесущности сверхорганизмов<sup>10</sup>. Но теперь можно опереться на цепь комплексных индивидуальных взаимодействий, предшествующих социологии людей. В этих взаимодействиях акторы должны постоянно конструировать и обслуживать коллективные структуры, которые возникают из их взаимодействий. Общество не начинается, как у Гоббса, с уже готовых человеческих тел, с расчетливых, способных к калькуляциям, умов, с других индивидов, приходящих к соглашению благодаря мифологии общественного договора. Насколько можно понять при помощи такой «проверки на приматах» историй о нашем происхождении, очеловечивание наших тел и душ, напротив, определялось тонкой тканью комплексных социальных взаимодействий, матрица которых существовала за несколько миллионов лет до нас. Слово-гибрид «социо-биология» меняет свое привычное значение на полностью противоположное, если принять во внимание, что человеческая жизнь была погружена в социальный мир на протяжении столь долгого времени. Мы становились все более человеческими – физически и интеллектуально – по мере приспособления к нашей изначальной окружающей среде, образуемой комплексной социальностью<sup>11</sup>.

Позволяя находить комплексную социальность, взаимодействия индивидов и социальные конструкции в самой природе, социология обезьян избавляет нас от необходимости заниматься рассмотрением этих вопросов исключительно в области социологии людей. Комплексная социальная жизнь становится общим свойством всех приматов. Точно так же, как бабуины и шимпанзе, мы участвуем в ней – сами того не осознавая – каждым своим действием. И все же мы не бабуины и не шимпанзе. И если комплексность нашей социальной жизни больше не может служить удовлетворительным объяснением данного отличия, нам необходимо найти другое основание. Для этого нужно

<sup>9</sup> Например, в теперь уже классическом изложении: (Heritage, 1984).

\* Здесь автор активно пользуется языком этнометодологии: «пробы», осуществляемые «компетентными членами» сообщества, создающими и «ремонтующими» социальный порядок *in situ*, посредством рутинных «рабочих операций» и собственных «категорий» – такова картина социальной жизни в теории Гарольда Гарфинкеля. См.: Garfinkel H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. – Прим. ред.

<sup>10</sup> Паразитические органицистские или, скорее, социобиологические метафоры см.: [5].

<sup>11</sup> В этом и состоит значение «макиавеллистской пронизательности», то есть пронизательности, возникшей в результате вторичной адаптации к сложным условиям социальной жизни; см.: [12].

понять, что представление об индивидуальных человеческих акторах, участвующих во взаимодействиях (интеракционистское описание), или описание конструирования социального при помощи неких категорий, которые должны постоянно проверяться на прочность (этнометодологическая версия), не позволяют объяснить большинство человеческих ситуаций, хотя и составляют общее основание наших знаний.

Если у обезьян социальная жизнь конструируется пошаговым взаимодействием, то у людей оно всегда было остаточной категорией. Не потому что (как утверждают сторонники существования социальной структуры) взаимодействие «происходит» в обществе, намного превосходящем его, а просто потому, что для совершения взаимодействия сначала нужно произвести определенную редукцию, фрагментировать социальные отношения так, чтобы они не «тянули за собой» шаг за шагом всю социальную жизнь (в конечном итоге совпадая с ней). Только благодаря существованию «фреймов», агенты могут вступать во взаимодействие лицом-к-лицу, оставляя «снаружи» историю своих жизней, а заодно и всех остальных взаимодействующих<sup>12</sup>. Само существование взаимодействия предполагает редукцию, декомпозицию (partitioning). Как теперь объяснить существование этих фреймов, перегородок, укрытий и ширм, свободных от инфекции социального? Интеракционисты ничего не говорят об этом, используя слово «фрейм» в метафорическом смысле. Сторонники социальной структуры – обычные противники интеракционистов – не в состоянии предложить лучшее объяснение, так как они повсюду видят тотальное и абсолютное присутствие социальной структуры. Нам же необходимо понять эту «приостановку непрерывности», эту декомпозицию, этот закуток, в котором может разворачиваться взаимодействие, не сталкиваясь ни с чем другим. Противники интеракционизма часто упрекают его в неспособности объяснить композицию социального целого, однако сила взаимодействия состоит именно в возможности локальной и моментальной приостановки «внешнего» вмешательства.

### Небольшое ‘je ne sais quoi’\*, которое дислоцирует взаимодействие

Что-то препятствует одновременно распространению человеческого взаимодействия «вовне» и вмешательству в него «извне». Является ли эта двусторонняя мембрана нематериальной, наподобие фрейма (понимаемого метафорически), или материальной, вроде перегородки, стены или строения (взятых здесь в своем буквальном смысле)? Для начала рассмотрим стаю из примерно ста бабуинов, живущих посреди саванны, постоянно следящих друг за другом, чтобы знать, куда идет стая, кто за кем ухаживает, кто на кого нападает и кто от кого защищается. Затем нужно перенестись в воображении к излюбленной сцене интеракционистов, где несколько человек – чаще всего двое – взаимодействуют в уединенных местах, скрытых от взглядов других. Если «ад – это другие», по выражению Сартра, то бабуинский ад отличается от человеческого: постоянное присутствие других оказывает воздействие, совершенно отличное от того, которое описывает «интеракционизм за закрытыми дверьми». Здесь необходимо провести различие между двумя принципиально различными значениями слова «взаимодействие». Первое, как уже было показано выше, относится ко всем приматам, включая людей, тогда как второе относится только к людям. Чтобы сохранить привычный термин, следует говорить о *фреймированных взаимодействиях*. Единственное различие между ними связано с существованием стены, перегородки, оператора редукции, ‘je ne sais quoi’, чье происхождение пока остается неясным.

Существует еще одно отличие между взаимодействием обезьян и тем, что наблюдается в человеческих интеракциях. В последних очень сложно достичь одновременности в пространстве и времени, характерных для первого. Мы говорим, не придавая этому большого значения, что вовлечены во взаимодействие «лицом-к-лицу». Действительно,

<sup>12</sup> О понятии фрейма, используемом в качестве метафоры социального фокусирования, хотя оно берется здесь также и в своем буквальном значении (т.е., в значении «каркас», «рамка», «материальное сооружение» – *Прим. ред.*), см.: [4].

\* «je ne sais quoi» (фр.) – не знаю, что еще... – *Прим. ред.*

вовлечены. Но одежда, которую мы носим, привезена из другого места и произведена довольно давно; произносимые нами слова не придуманы специально для этого случая, стены, в которых мы находимся, были спроектированы архитектором для клиента и сооружены рабочими – людьми, которые здесь сейчас отсутствуют, хотя их действия вполне ощутимы. Сам человек, к которому мы обращаемся – продукт истории, выходящей далеко за пределы «фреймов» наших с ним отношений. Если вы попытаетесь нарисовать пространственно-временную карту всего, что присутствует во взаимодействии, и набросать список всех, кто так или иначе в нем участвует, вряд ли вы получите хорошо различимый фрейм; скорее – спиралевидную сеть с множеством самых различных дат, мест и людей<sup>13</sup>. Апологеты социальных структур часто предлагают сходную критику интеракционистов, но извлекают из нее совершенно иной урок. Во взаимодействиях, утверждают они, не происходит ничего такого, что не было бы активацией или материализацией некоей структуры, присутствующей где-то в другом месте. Однако взаимодействие не ограничивается простой «настройкой», а предполагает конструирование – нам известно об этом от обезьян, равно как от Гофмана и этнометодологов. Взаимодействие выражается в противоречивых формах: оно представляет собой систему фреймов (которая ограничивает интеракцию) и сеть (которая распределяет одновременность, близость и «персональность» взаимодействий)\*. Откуда берутся такие противоречивые свойства человеческого взаимодействия и почему они так отличаются от взаимодействия в понимании приматологов, которое относится к нагим и сопричастным обезьянам?

Невозможно ответить на этот вопрос до тех пор, пока взаимодействие противопоставляется чему-то еще – например, социальной структуре, понимаемой глобально, в противовес, якобы, локальному взаимодействию. К бабуинам такое противопоставление неприменимо, поскольку за пределами немногочисленных диадических интеракций обезьяны, как и приматологи, теряют следы взаимодействия и начинают описывать оставшееся при помощи размытых терминов вроде «стаи», «клана» или «группы». Можно вполне обоснованно утверждать, что для бабуинов социальная жизнь целиком состоит из индивидуальных взаимодействий, образующих непрерывную цепочку, наподобие последовательных сегментов механической солидарности<sup>14</sup>. Довольно любопытно, что когда приматологи делают следующий шаг и обращаются к структуре, статусу, слою, семье и касте, они всегда делают это после проведения своих инструментализированных наблюдений. Что позволяет им избегать крайнего интеракционизма при помощи множества наблюдений и построения – на компьютерах – большого числа статистических корреляций<sup>15</sup>. Делая это, они приближаются к человеческому состоянию, но, несомненно, отдаляются от изучаемого образа взаимодействия обезьян, которые ухитряются координировать свои действия, не пользуясь подобными инструментами, результатами наблюдений, маркерами и калькуляторами.

Случай научной работы самих приматологов весьма показателен. Чтобы перейти от взаимодействий к их сумме, необходим некий инструмент, механизм, позволяющий суммировать и подводить итоги. Те, кто верит в социальные структуры, всегда предполагают наличие этого существа *sui generis* – общества – которое «проявляется» через

<sup>13</sup> О дислокации взаимодействия в попытке описать его точную сеть см.: [38; 39].

\* В данной части своего анализа Латур еще раз обращается к концептуальному аппарату теории фреймов Ирвинга Гофмана. У Гофмана «framework» – это «фрейм фреймов» или «система фреймов», т.е. некоторый класс форматов интеракции, определяющих ее протекание «здесь и сейчас». Латур дополняет гофмановское понятие «framework» концептом «network», указывающим на сетевую распределенность взаимодействия. – Прим. ред.

<sup>14</sup> В классическом определении, предложенном Дюркгеймом.

<sup>15</sup> Немногие приматологи согласятся с таким описанием своей работы, поскольку большинство из них не применяют к самим себе ту же социологическую теорию, что и к своим излюбленным предметам. В их описании отсутствует работа научного конструирования. Она становится зримой только после принятия определенных выводов социологии науки. Для общего ознакомления см.: [31]. О преимуществах рефлексивной социологии при рассмотрении отношений господства см.: [49].

взаимодействия. Теперь единственным имеющимся доказательством его существования служит невозможность никакого взаимодействия лицом-к-лицу без немедленной актуализации отношений с другими акторами, из других мест и другого времени. Только слабость взаимодействия лицом-к-лицу вынуждает изобретать эту конструкцию – всегда уже-присутствующую структуру. Из того факта, что взаимодействие представляет собой неконсистентный гибрид локальной системы фреймов и сети гетерогенных отношений, не вытекает требование оставить твердую почву взаимодействий и перейти к «более высокому уровню» общества. Даже если бы эти два уровня действительно существовали, между ними отсутствовало бы слишком много ступеней. Возьмем пример с отношениями господства среди самцов бабуинов, который довольно ясно обнаруживает здесь изъяны в аргументации. Имеется множество примеров проявления агрессии между самцами для установления того, кто из них самый сильный. Но при всем желании построить шкалу от самого сильного к самому слабому сделать это невозможно, если только не ограничить наблюдения несколькими днями<sup>16</sup>! Но что значит иметь иерархию, которая меняется каждый день? Как можно утверждать, что бабуин «вступил на» или «поднялся по» шкале господства, если сама шкала требует пересмотра каждые три дня? Вероятно, это значит, что социология слишком быстро переходит от взаимодействия к структуре – как в случае с бабуинами, так и в случае с людьми. Каждая обезьяна сама ставит вопрос о том, кто сильнее или слабее ее, и проводит проверку, которая позволяет ответить на этот вопрос. Но, подобно прилежным этнометодологам, ни одна из них не использует для этого представления о статусе или иерархии. Конечно, приматологи справляются с этим, но лишь при помощи многочисленных вычислений, инструментов и графиков. Следует ли нам забывать о наличии такого оснащения у приматологов и его отсутствии у бабуинов?

Во всех социологических теориях существует разрыв между (фреймированным) взаимодействием индивидуальных нагих тел и структурными эффектами, которые оказывают на них влияние в духе никем не избранной трансцендентной судьбы. Вопрос, на который должен ответить каждый теоретик, заключается в том, какой социальный оператор лучше всего преодолевает этот разрыв. Идет ли речь о событиях, вызванных самим взаимодействием, но выходящих за рамки предвидения акторов<sup>17</sup>? Может ли разрыв быть преодолен непреднамеренными изменениями, вызванными искаженными последствиями, которые проистекают из всегда ограниченной рациональности<sup>18</sup>? Или необходим феномен самотрансценденции, ведущий к появлению коллективных феноменов точно так же, как порядок возникает из хаоса<sup>19</sup>? Или нам нужно заключить договор, сводящий множество рассеянных действий к одному тоталитарному действию суверена, который не воплощен ни в ком конкретном<sup>20</sup>? Или, напротив, если разрыв невозможно преодолеть, нам следует принять идею существа *sui generis*, которое всегда присутствует и которое объемлет взаимодействия, подобно множеству специализированных клеток в организме<sup>21</sup>? Следует ли нам настаивать на существовании между этими двумя крайностями ряда посредников, вроде социального «поля» или «габитуса» и включения в структуру посредством индивидуального действия того, что было изъято из нее<sup>22</sup>? Существует не так уж много ответов на эти вопросы – даже если они вносят что-то новое, перестраивая несколько имеющихся моделей в новые

<sup>16</sup> См.: [48]. Невозможно просчитать устойчивые отношения господства среди бабуинов, за исключением самок, чьи отношения могут длиться десятилетиями. Общее обсуждение см.: [22]. Об идеологической обстановке, в которой велись такие дебаты, см.: [26].

<sup>17</sup> Такова претензия интеракционизма Гофмана [4] и символического интеракционизма вообще.

<sup>18</sup> Об этом говорит методологический индивидуализм, наиболее крайнее проявление которого см.: [10].

<sup>19</sup> См.: [21]. В этой работе, как в большинстве социобиологических работ, самоорганизация используется в качестве основной биологической метафоры.

<sup>20</sup> Как во влиятельной метафоре общественного у Гоббса: [2].

<sup>21</sup> См.: [5].

<sup>22</sup> Это, конечно, решение Бурдье [1; 11], которое позволяет ему критиковать оба типа социальной теории, используя габитус в качестве среднего диалектического оператора.

сочетания<sup>23</sup>. Во всяком случае, эти теории заранее предполагают существование проблемы, которую они пытаются решить: наличие зияющей пропасти, разделяющей агента и структуру, индивида и общество. Если же мы утверждаем, что такой пропасти не существует, социологическая теория оказывается в довольно странном положении, пытаясь найти все более и более уточненное решение несуществующей проблемы.

Предлагая нашему вниманию рай для интеракционистов и этнометодологов, социология обезьян демонстрирует нам социальную жизнь, в которой взаимодействие и структура со-положены. Здесь нет никакого фреймированного взаимодействия, поскольку отношения не защищены от весьма частого вмешательства со стороны всех остальных. Но здесь нет и никакой структуры, поскольку каждое взаимодействие должно – локально, лишь за счет себя самого – вновь и вновь служить проверкой на прочность совокупности отношений. При этом взаимодействия не могут быть суммированы, обобщены, генерализованы, им не может быть атрибутирована роль или функция, существующая независимо от физических тел. Обезьяны показывают нам, каким могло бы быть социальное общество – то есть, общество, отвечающее требованиям социальной теории относительно перехода от индивидуального «уровня» к социальному посредством ряда операторов; при том, что сами эти операторы полагаются социальными. Однако из такой коллективной жизни невозможно извлечь ни (фреймированного) взаимодействия, ни общества, ни действующего лица, ни структуры. Единственное, что можно из этого вынести, – образ чрезвычайно плотно переплетенной, но все же пластичной и мягкой ткани, всегда остающейся гладкой. Как следствие, разрыв, который, согласно социологам, отделяет индивида от общества, не является некой первичной данностью. Если взять социальную жизнь обезьян за (частично мифическую) основу, эта пропасть останется невидимой. Чтобы обнаружить ее, нужно кое-что еще. Социальная жизнь, по крайней мере, в ее человеческой форме, должна зависеть от чего-то иного, нежели социальный мир.

Приматологам, суммирующим структурные эффекты, приходится инструментализировать свои наблюдения при помощи оборудования, которое играет необычайно важную роль в решении этой задачи. Для того чтобы фреймировать взаимодействие, нам необходимы перегородки и укромные места. Но чтобы проследить взаимодействие, нужно сделать набросок крайне гетерогенной сети, соединяющей различные времена, места и акторов, заставляющей нас постоянно выходить за рамки фиксированной системы фреймов. Таким образом, всякий раз, когда мы переходим от комплексной социальной жизни обезьян к нашей собственной социальной жизни, нас поражает множество действующих одновременно сил, лишаящих социальное отношение характеристик сопричастия. Переходя от одного к другому, мы движемся не от простой социальности к комплексной, а от комплексной социальности – к сложной. Эти два прилагательных, хотя и имеют одинаковую этимологию\*, позволяют провести различие между двумя сравнительно разными формами социального существования. «Комплексное» означает одновременное наличие во всех взаимодействиях большого числа переменных, которые не могут рассматриваться дискретно. «Сложное» будет означать последовательное присутствие дискретных переменных, которые могут быть исследованы одна за одной, и *сложены* друг в друга на манер черного ящика. «Сложное» точно так же отличается от комплексного, как и простое<sup>24</sup>. Коннотации этих двух слов позволяют нам бороться с предрассудками эволюционистов, которые всегда рисуют медленное движение вперед от обезьяны к человеку по шкале возрастающей комплексности. Мы же, напротив, спускаемся от обезьяны к человеку, от высокой комплексности к высокой сложности. Во всех отношениях наша

<sup>23</sup> Широкое многообразие этих позиций опускается здесь с тем, чтобы выявить общий подход аргументации, который требует сначала постановки «проблемы» социального порядка и индивидов. Классификацию этих моделей см.: [36].

\* Во французском, как и в английском, языке два этих прилагательных действительно имеют общее происхождение: «complexe» и «compliqué» (фр.), «complex» и «complicated» (англ.). – *Прим. ред.*

<sup>24</sup> Я вкратце излагаю здесь основную идею следующей работы: [50].

социальная жизнь кажется менее комплексной, чем у бабуина, но почти всегда более сложной.

Фреймированное взаимодействие само по себе не является локальным, как будто индивидуальный актор – этот необходимый ингредиент социальной жизни, без которого невозможно сконструировать тотальность, – существовал всегда. Мы не находим такого актора среди обезьян (живущих, кстати, в раю или, скорее, в аду интеракционизма). У людей, с другой стороны, взаимодействие четко ограничено множеством перегородок, фреймов, ширм, противопожарных разрывов, которые позволяют перейти от комплексной ситуации к ситуации сложной. Когда я покупаю на почте марки и обращаюсь к кассиру через окошко, рядом со мной нет моей семьи, коллег или начальников, дышащих мне в затылок. И, слава богу, официант в этот момент не рассказывает мне историй о теще или зубах своей благоверной! Такое счастье недоступно бабуину. Любой другой бабуин может вмешаться в любое взаимодействие.

И наоборот, структура сама по себе не является глобальной – как если бы она существовала всегда в виде сущности *sui generis*, из тела которой постепенно высвобождался бы индивидуальный актор. Мы никогда не найдем среди обезьян (не располагающих преимуществами фреймированной интеракции) никакой социальной структуры: того, что, согласно социальной теории, должно упорядочивать взаимодействия. С другой стороны, у людей последовательные взаимодействия решительно глобализованы благодаря использованию совокупности инструментов, орудий, расчетов и программ-компиляторов. Это позволяет нам переходить от одних сложных и, в конечном итоге, изолированных отношений к другим сложным отношениям, связанным с ними<sup>25</sup>. Вечером сотрудница почты может составить отчет и подвести итоги, рассмотрев вкратце представляющие интерес элементы всех фреймированных взаимодействий, имевших место в каждом случае общения через кассовое окошко. Бабуины не способны составить подобные обзоры: им не хватает именно этих сводок, обобщений, следов. У них есть только свои тела для образования социального, только своя бдительность и активная работа памяти для «поддержания» отношений.

Поскольку в случае с обезьянами нет разницы между взаимодействием и обществом, не существует и (фреймированного) взаимодействия и структуры. В случае с людьми, кажется, будто пропасть отделяет индивидуальное действие от влияния трансцендентного общества. Но это не изначальное разделение, которое некая социальная теория может преодолеть и которое может служить радикальному отделению нас от других приматов. Это артефакт, результат забвения всех практических действий по локализации и глобализации. Ни индивидуальное действие, ни структуру невозможно помыслить без создания локального – посредством разделения, сосредоточения, редукции, направления в определенное русло – и без создания глобального – посредством инструментализации, компиляции, приращения и прерывания. В социологической теории невозможно ни к чему придти, если изначально исходить из существования индивидуального действия или структуры. Но, что еще интереснее, попытка рассуждать здраво и действовать одновременно с двух противоположных полюсов актора и системы (чтобы затем разработать промежуточную формулу, примиряющую их обоих) тоже ни к чему не приводит<sup>26</sup>. Сочетание двух этих артефактов может создать только третий, еще более неприятный. Чтобы воспользоваться основанием для сравнений, которое дают нам общества обезьян, следует исходить не из взаимодействия или структуры, и не из некоего промежуточного положения. Исходить

<sup>25</sup> По этой теме, которая предполагает рассмотрение структурных эффектов как перформативных следствий практик письма и использования инструментов, взятых в широком смысле, см., конечно же: [25]; о науке см.: [34]; об учете см.: [44]; о государственной статистике см.: [18; 43].

<sup>26</sup> В этом заключается недостаток всех диалектических решений, вроде «габитуса» у Бурдьё или недавней работы: [23]. Диалектика всегда бессильна, поскольку она скрывает проблему, которая нуждается в разрешении, претендуя на ее «снятие» – и это выглядит еще более нелепо, когда она пытается «снимать» искусственные противоречия.

следует из работы по локализации и глобализации, до настоящего времени не включавшейся в область социальной теории, которая пренебрежительно относилась к обезьянам. Исследование этой работы заставляет нас обратиться за помощью к элементам, на первый взгляд, не принадлежащим к социальному репертуару.

### **Должна ли социология оставаться без объекта?**

В отличие от социального взаимодействия обезьян, взаимодействие людей всегда кажется более дислоцированным. Нет ни одновременности, ни непрерывности, ни гомогенности. Взаимодействие людей не ограничивается их телами, которые соприкасаются в одном времени и пространстве, связанные взаимным вниманием и общей деятельностью; для понимания человеческого взаимодействия приходится обращаться к другим элементам, другому времени, другим местам и другим акторам. Конечно, у бабуинов некоторые отношения могут длиться десятилетиями и, следовательно, нуждаются в отсылке к прошлым событиям<sup>27</sup>. Но последние предполагают прошлое соприкосновение тел, которые переносятся в нынешнюю ситуацию живой памятью или генетическим воплощением тех же самых тел. У бабуинов социальное всегда связано с социальным: отсюда нехватка продолжительности и серьезная работа, которая, несмотря ни на что, должна быть проделана, чтобы социальное не «рассыпалось». Человеческая социальная жизнь, напротив, кажется неравномерной, смещенной. Чтобы описать это качество, эту дислокацию, это постоянное обращение к другим элементам, которые отсутствуют в данных обстоятельствах, мы зачастую обращаемся к символам и коварному понятию символизма. Действительно, символы используются нами для ссылки на что-то, что в настоящий момент отсутствует. Предполагается, что через символы проявляет себя отсутствующая структура. Посредством этого люди отличают себя от обезьян – или, по крайней мере, таков общий ход мысли. Нередко говорят о необходимости различать социальные связи приматов и символические связи людей. Но у этой гипотезы нет прочной опоры в буквальном смысле слова: на что опираются символы? Если социальное не является достаточно прочным, чтобы сделать взаимодействия длительными, как свидетельствует пример обезьяньих обществ, – как это могут сделать знаки? Как один только разум может стабилизировать то, чего не могут стабилизировать тела<sup>28</sup>?

Чтобы перейти от комплексной социальной жизни к сложной, нам необходимо принять во внимание делегирование, смещение, передислокацию, перенос во времени текущего взаимодействия, позволив ему найти временную опору в чем-то еще. В чем именно? В самом социальном? Да, отчасти, именно так поступают обезьяны. Переплетение взаимодействий, безусловно, предлагает им ту относительно прочную опору, от которой они могут отталкиваться. Могут ли они опираться на символы? Вероятность этого не слишком высока, так как они, в свою очередь, должны покоиться на чем-то ином, кроме памяти, сознания или просто мозга приматов. Символы не фундаментальны. Когда у них есть прочное основание, когда когнитивные способности достаточно инструментализированы и сильны, тогда, возможно, есть смысл придавать им такое значение, но не раньше<sup>29</sup>. Почему бы не обратиться к чему-то еще – к тем бесчисленным объектам, которые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, локализуя или глобализуя взаимодействие? Как можно воспринимать кассу без окошка, стекла, двери, стенок, стула? Разве они, в буквальном смысле, не образуют фрейм взаимодействия? Как можно подводить ежедневный

<sup>27</sup> См.: [35].

<sup>28</sup> Этот аргумент подкрепляется недавним пересмотром оснований когнитивной антропологии Эдом Хатчинсом: его теория диссеминации репрезентационных состояний при помощи различных средств не требует символического определения символизма.

<sup>29</sup> Человеческие общества не позволяют изучать когнитивные способности в «чистом» виде, как не позволяют они изучать и первичную комплексную социальную жизнь. Невозможно заниматься исследованием интеллекта, не прибегая при этом за помощью к «интеллектуальным технологиям». Этому посвящены работы Дона Норманна [42; 29; 37] и социологов этой науки (см. прекрасный недавний пример: [24]).

баланс офиса без формул, квитанций, счетов, бухгалтерских книг – и как можно упускать из виду прочность бумаги, долговечность чернил, нанесенные на клавиши буквы, практичность степлеров и громкие удары штемпеля? Разве не эти вещи делают возможной тотализацию? Не заблуждаются ли социологи, пытаясь сделать социальное из социального, подлатав его символическим, не замечая присутствия объектов в тех ситуациях, в которых они ищут лишь смысл? Почему социология у них остается безобъектной?

Всегда сложно обращаться к вещам, для того чтобы объяснить с одной стороны длительность, протяженность, основательность и структурность, а, с другой стороны – локализацию, редукцию и фреймирование взаимодействий. По сути, для гуманитарных наук вещи стали неосознаваемыми тогда же, когда они стали «объективными» для точных. После произошедшего в эпоху модерна раскола между объективным миром и миром политического, вещи больше не служат товарищами, коллегами, партнерами, соучастниками или союзниками в поддержании социальной жизни<sup>30</sup>. Объекты могут выступать теперь только в трех качествах: как невидимые и надежные инструменты, как детерминирующая инфраструктура и как проекционный экран. Как инструменты, они точно передают социальную интенцию, которая пронизывает их, ничего не прибавляя и не отнимая. В роли элементов инфраструктуры они образуют материальный фундамент, на котором затем надстраивается социальный мир знаков и репрезентаций. Как проекционные экраны, они могут лишь отражать социальный статус и служить основой для тонких игр различия. Например, в качестве инструмента, окошко кассира призвано предотвращать нападения клиентов на сотрудников и не имеет никакого дополнительного назначения; оно не оказывает определяющего влияния на взаимодействие, а только облегчает или затрудняет его. Как инфраструктура, окошко кассира неразрывно связано со стенами, перегородками и компьютерами, образуя материальный мир, полностью формирующий остальные отношения точно так же, как вафельница формирует вафлю. Как проекционный экран, то же окошко кассира лишается стекла, древесины, отверстия и всего остального – оно становится знаком, отличным от этих прозрачных панелей, барьеров, остекленного выступа, перегородок, тем самым, сигнализируя о различиях в статусе или свидетельствуя о модернизации общественной службы. Раб, господин или субстрат знака – в каждом случае сами объекты остаются невидимыми, в каждом случае они асоциальны, маргинальны и неспособны участвовать в созидании общества<sup>31</sup>.

Нужно ли нам создавать социальный мир из индивидуальных акторов или, напротив, следует начать с общества, которое всегда им предшествует? Нужно ли нам рассматривать объекты как детерминанты социального мира или, напротив, следует исходить из одних взаимодействий? Эти два вопроса сводятся к одному, который образует своеобразный крест: Структура – Взаимодействие (сверху вниз) и Объективное – Социальное (слева направо). Откуда тогда берется проблема актора и системы? Из необходимости выбора отправной точки либо в структуре, либо в индивидуальном действии, либо одновременно в обоих этих полюсах сразу. Но эти отправные точки вовсе не просты – мы знаем об этом от обезьян, – так как взаимодействие должно быть помещено во фрейм, а структура должна быть упорядочена, глобализирована. Отправная точка, если она вообще существует, должна лежать «посередине», в действии, которое локализирует и глобализует, дислоцирует и рассеивает, – действию, без которого обезьяньи общества, по-видимому, могут обходиться. Однако чтобы определить этот локус, нам необходимо разделить социальное с вещами, что кажется совершенно невыполнимым – не из-за пропасти, отделяющей актора от системы, а из-за не менее глубокой пропасти, которая отделяет объективный мир от политического

<sup>30</sup> Я использую здесь аргументацию симметричной антропологии, изложенную в работе: [6]. Ситуация быстро меняется с окончанием современности благодаря решительному наступлению социологии техники, с одной стороны, – см., напр.: [8] – и реобъективации экономики – с другой (см.: [7; 51]). Стремительно развивается и сравнительная антропология техники; о состоянии искусства см.: [40].

<sup>31</sup> Споры в археологии о форме и назначении обычно отражают данное положение вещей. Краткое изложение аргументов и их недавнее развитие см.: [35].

мира, точные науки от гуманитарных, природу от культуры. В результате этого разрыва объекты не могут вернуться в социальный мир, не изменив его «естественных» свойств<sup>32</sup>. И, наоборот, общество не может вторгнуться в естественные науки, не «коррупцировав» их<sup>33</sup>. Не трудно понять дилеммы социологии, если принять во внимание ту «двойную западню», в которой она оказалась. Именно из-за этой горизонтальной черты между объективным и политическим в социологии не остается места для вещей. И поэтому она оказывается вертикально разорванной между актором и системой. Забвение артефактов (в смысле вещей) означало создание другого артефакта (в смысле иллюзии): общество, которое должно поддерживаться только социальным. Тем не менее, оператор, обменник, агитатор и аниматор, способный одновременно к локализации и глобализации, находится прямо в центре этого креста. Он может связывать свойства объектов со свойствами социального. Однако что это?

Слишком часто социология остается «без объекта». Подобно многим гуманитарным наукам, она конструировалась через противодействие привязанности к объектам, которые она называет фетишами. Она всерьез отнеслась к давнему предостережению пророков насчет идолов, товаров и *objets d'art*: «есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат». В соответствии с ним, неодушевленные тела мертвых статуй оживляет наша вера, социальная жизнь, которую мы проецируем на них. Эти фетиши сами по себе ничего не значат. Они служат просто проекционными экранами. Но на самом деле они привносят в общество нечто важное – объективацию. Подобно многим проекционным аппаратам, эти идолы полностью меняли смысл действия – оставляя у бедняков, которые отдавали им все, впечатление, что их сила проистекает из них одних и что именно эта сила делает людей бессильными, вызывая отчуждение. Гуманитарные науки на протяжении долгого времени пытались изменить такое положение. Посредством ретропроектора, симметричного первому, они показывают труд людей и их многократные усилия по вдыханию жизни в безжизненное тело фетиша<sup>34</sup>. Этика социологов требует от них антифетишизации. И понятно, почему возвращение объектов, рассуждения о значении вещей, рассмотрение неодушевленных предметов в качестве реальных социальных сил кажется им ошибкой: ошибкой возврата к объективизму, натурализму или вере. Однако мы не можем вновь ввести объекты, не изменив этики социальных наук и не приняв определенной дозы фетишизма<sup>35</sup>. Объекты выполняют определенную работу, а не просто являются экранами или ретропроекторами нашей социальной жизни. Их задача состоит не только в «стирании» социального происхождения сил, которые на них проецируются.

Если мы хотим вернуть объектам их роль в этом производстве социальной связи, нам необходимо также отказаться от антифетишистских рассуждений, а также от другой функции, которой гуманитарные науки наделяли объекты, – объективности естественных сил. Все, по-видимому, ведет к положению, когда социология начинает колебаться между двумя определениями объекта: «плохим объектом» или фетишем и «хорошим объектом» или силой. С первым необходимо бороться, показывая, что он – всего лишь субстрат, инвертор, экран для проекции верований. Последний необходимо открывать, применяя соответствующие методы, не связанные с верованиями, мнениями, страстями и поступками

<sup>32</sup> Чтобы получить представление об ужасе, который такая позиция вызывает даже у проницательных социологов, см.: [15].

<sup>33</sup> Такова классическая эпистемологическая позиция, которая была опровергнута исследованиями науки, но она заставляет людей верить, что исследования науки «антинаучны», так как они, на самом деле, избавляют науки от обязательства обосновывать моральный порядок.

<sup>34</sup> В этом узнаются механизмы исследования, применявшиеся Марксом к экономике и Дюркгеймом к религии, позднее популяризированные Бурдьё применительно ко всем объектам, с которыми обыденное сознание могло ошибочно посчитать себя связанным. Об этике «профессии социолога», в частности, см.: [11]. Ответ на нее см.: [27].

<sup>35</sup> Задача фетишей как раз и состоит в том, чтобы сделать два значения слова «факт» совместимыми: то, что является сфабрикованным, и то, что является истинным. Без понятия фетиша нам приходится ставить вопросы в виде противопоставления: это сфабриковано или истинно?

людей. Навязывая объектам две эти роли, гуманитарные науки критикуют повседневные верования и стремятся подражать естественным наукам, какими они их себе представляют<sup>36</sup>. Социология долгое время колебалась между этими двумя ролями для объекта, ни одна из которых не позволяла ему стать полноценным социальным актором. Либо объекты не создают ничего, кроме обмана, либо они создают слишком многое. Либо ими полностью манипулируют люди, либо они сами манипулируют ни о чем не подозревающими людьми. Либо они обусловлены, либо сами служат условием. «Обычные» акторы всегда оказываются носителями либо веры в фетиши, либо представлений о своей свободе. В обоих случаях наука социология развеивает заблуждения акторов, заманивая их в ловушку между «плохими объектами», в которые они ошибочно верят, и «хорошими объектами», которые принуждают их к действию, не взирая на их собственные желания. Критическая социология веками кормилась сциентизмом с одной стороны, и осуждением фетишизма – с другой<sup>37</sup>.

Создавать инструменты, конструировать социальное, действовать, взаимодействовать, локализовать, глобализировать, детерминировать, ограничивать – все эти глаголы предполагают не только определенную модель индивидуального или коллективного, человеческого или нечеловеческого актора, но также и определение действия. Возвращение объектам их места в обществе кажется проблематичным, если объекты полагаются просто «объективными», но еще более трудной оказывается эта задача, если представить их в качестве фабрикации всемогущего актора. Чтобы они могли использоваться социологической теорией, необходимо, с одной стороны, изменить взгляд на объективную природу объектов, а с другой – концепцию действия. Сейчас в обычном антропологическом употреблении под действием подразумевается «осуществление» (*making-be*), для которого требуются субъект, обладающий соответствующими способностями, и объект, который благодаря актору теперь переходит от потенциальности к действительности. Кажется, ничто в этой схеме не может быть вновь использовано социальной теорией, заинтересованной в разделении социальности с вещами. Действие не может служить отправной точкой, если только не прекратить ряд циркуляций, трансформаций, постоянно отражающихся на социальном теле. Тогда способности актора можно вывести из самого процесса атрибуции, остановки, ограничения и фокусировки. Не следует путать эту мысль с идеей о том, что актер своими действиями актуализирует некую потенциальную возможность. Но ни понятие трансформации, ни понятие циркуляции не способны, оставаясь неизменными, заменить идею действия в качестве отправной точки. Чтобы исправить положение, нам следует взять за отправную точку опосредование, то есть событие, которое невозможно определить в терминах входа и выхода или причины и следствия. Идея опосредования или события позволяет сохранить только две черты действия, которые являются полезными (появление нового и невозможность создания *ex nihilo*), без сохранения всей западной антропологической схемы, которая всегда требует признания субъекта и объекта, способности и действия, потенциальности и действительности.

Обычная теория актора пригодна для дальнейшего использования не больше, чем теория действия. Как только утверждается, что актер – индивидуальный или коллективный – не может быть отправной точкой действия, складывается впечатление, что акторы должны быть немедленно растворены в силовых полях. Однако действовать – значит быть постоянно охваченным тем, что делаешь. «*Faire c'est faire faire*». Делать – значит делать свершившимся. Когда один действует, другие переходят к действию. Отсюда невозможность

<sup>36</sup> Развитие социологии науки полностью изменило потребность в подражании точным наукам, поскольку последние перестали походить на мифы, развитые эпистемологией. Напротив, создавая новые объекты для коллективного конструирования, точные науки вновь становятся образцом для подражания – но они оказываются слишком сильно смешанными с социальными науками, чтобы можно было построить соответствующую иерархию. Им начинают подражать в темах, а не в форме и, конечно, не в их эпистемологии.

<sup>37</sup> О недавнем изменении отношений между критической социологией и социологией критики см.: [9].

редуцирования актора к силовым полям или к структуре<sup>38</sup>. Можно только участвовать в действии, разделять его с другими актантами<sup>39</sup>. Это относится как к «производству» действия, так и к «манипуляции» им. О социологах давно шутливо говорят, что их акторы подобны марионеткам в руках «социальных сил». Это очень хороший пример, но он показывает ровно противоположное тому, что стремится показать. В беседе с кукловодом выяснится, что марионетки не перестают его удивлять. Он заставляет марионетку делать вещи, которые невозможно свести к его собственным действиям и которые сам он делать не умеет – даже потенциально. Фетишизм ли это? Нет, это просто признание того, что наши творения превосходят нас. Действовать – значит опосредовать действия другого. Но то, что относится к совершению, относится также к манипуляции. Предположим, что кто-то или что-то еще – метафорически – дергает за нити самого нашего кукловода – социальный актор, «художественное поле», «дух времени», «эпоха», «общество»... Этот новый актант, стоящий за ним, может справляться с кукловодом не лучше, чем он, в свою очередь, с марионеткой. Можно только ассоциировать посредников, ни один из которых не является причиной или порождением тех, с кем он ассоциируется. Поэтому нет ни акторов, с одной стороны, ни силовых полей – с другой. Есть только акторы – актанты, – каждый из них может только «включаться в действие» посредством ассоциации с другими, удивляющими или превосходящими его/ее/это.

Как трудна социальная теория! Социальную комплексность, некогда связывавшуюся только с человеком, теперь необходимо разделить с другими приматами – а, значит, проследить ее эволюцию за миллионы лет. Взаимодействие не может служить отправной точкой, поскольку для людей оно всегда помещено в некоторую систему фреймов, которая размывается системой сетей, идущих через нее во всех направлениях. Что касается противоположного полюса, пресловутого общества *sui generis* – оно объединяется исключительно гетерогенезисом и кажется, скорее, условным «пунктом прибытия» в работе по компиляции и суммированию, требующей большого количества оборудования и сложных инструментов. Новые когнитивные способности обязаны своим расширением не столько власти символов, сколько власти инструментов. Исходить из коллективного или индивидуального актора невозможно, поскольку некая способность может быть приписана актанту лишь в результате осуществления им чего-то... узнать же это можно лишь тогда, когда другие актанты вступают в действие. Даже повседневное употребление слова «действие» оказывается здесь бесполезным, так как оно предполагает отправную точку и носителя силы. Ни действие, ни актор, ни взаимодействие, ни индивид, ни символ, ни система, ни общество, ни их многочисленные сочетания не могут быть вновь использованы. В этом нет ничего удивительного, так как социологической теории – подобно физике или геологии – больше не следует рассчитывать на обнаружение необходимых терминов в повседневном узусе, если она, переставая быть модернистской, полностью отказывается от наследия Великого Раскола (Great Devide) и берет на себя ответственность за «социальную жизнь вещей». «Следуйте за актерами» – гласит лозунг нашей социологии, но в нем не говорится, как именно нужно за ними следовать.

### От изучения души общества к изучению его тела

<sup>38</sup> Слабость структурализма заключается именно в необходимости поиска правил за видимостью, в представлении о том, что некая сущность может просто «занимать положение», тогда как она постоянно воссоздает окружающее и служит посредником воссоздания. Отсюда оппозиция, которая оказалась фатальной для этой системы мысли, – оппозиция между субъектом и «смертью субъекта», растворяющегося в силовых полях: [19; 20]. Но не существует никаких субъектов, которые могли бы распадаться, и никаких силовых полей, в которых они могли бы растворяться, поскольку не существует никакого носителя силы. Существуют только трансляции, операции перевода.

<sup>39</sup> Термин «актант», который происходит из семиологии, позволяет распространить область социального исследования на всех взаимодействующих, вступающих в ассоциации и обменивающихся своими свойствами существ. Он также имеет и свои недостатки. Критику см.: [32].

Обезьяны почти никогда не используют объекты в своих взаимодействиях. Для людей почти невозможно найти взаимодействие, которое не требовало бы обращения к технике<sup>40</sup>. Взаимодействия распространяются среди обезьян, охватывая постепенно всю стаю. Человеческое взаимодействие чаще всего локализуется, заключается во фрейм, сдерживается. Чем? Самим фреймом, который состоит из нечеловеческих акторов. Нужно ли нам обращаться к детерминации материальными силами или к власти структуры, чтобы перейти от взаимодействия к оформляющей его системе фреймов? Нет, мы просто переносимся в места и отрезки времени, предусмотренные и предустановленные фреймом. Пример с кассой на почте еще раз послужит для разъяснения этой идеи. Если перенести внимание с взаимодействия, которое временно объединяет нас – сотрудницу почты и меня – на стены, кассовое окошко, правила и формулы, то нам придется выйти за рамки ситуации «здесь и сейчас». Мы не остановимся на «обществе» или «администрации». Мы постепенно перейдем в кабинет архитектора почтовой службы, где был подготовлен проект кассы и смоделирован поток пользователей. Мое взаимодействие с сотрудницей было предвидено в нем статистически несколькими годами ранее – и способ, которым я наклонился к окошку, брызгал слюной, заполнял формы, был предвиден специалистами по эргономике и вписан в деятельность почтовой службы. Конечно, они не видели меня стоящим там во плоти, как не видели они и сотрудницу. Но было бы серьезной ошибкой утверждать, что меня там не было. Я был вписан туда в виде категории пользователя, и сегодня я просто исполнил эту роль и актуализировал данную переменную своим собственным телом. И я действительно связан с почтовым отделением и архитектором тонкой, но прочной нитью, которая заставляет меня перейти от своего собственного тела, взаимодействующего с сотрудницей почты, к типу пользователя, представленному в проекте. И наоборот, здание, спланированное многими годами ранее, остается – благодаря подключению португальских рабочих, бетона, плотников и стекловолокну – зданием, которое сдерживает, ограничивает, канализирует и делает возможным мое общение с сотрудницей почты. По мере добавления объектов, нам придется привыкнуть к перемещению во времени и пространстве между различными уровнями материализации; в этих перемещениях мы не найдем ни знакомых картин взаимодействия лицом-к-лицу, ни некой социальной структуры, которая, как утверждается, заставляет нас действовать<sup>41</sup>. И, конечно, мы не столкнемся с еще более знакомой и печальной картиной бесплодных компромиссов между двумя этими моделями действия.

Интеракционисты правы, говоря, что мы никогда не должны забывать о взаимодействии, но если следовать за человеческими взаимодействиями, невозможно оставаться в одном и том же месте, невозможно присутствие одних и тех же акторов, причем в одной и той же временной последовательности. И в этом вся загадка, которая заставляла их противников утверждать, что они не учитывали «структурные» или «макро-» эффекты. Дислоцируя взаимодействие посредством ассоциации с не-человеками, мы выходим за пределы настоящего, за пределы нашего тела, мы можем осуществлять взаимодействие на расстоянии, что весьма затруднительно для бабуинов или шимпанзе. Подобно пастуху, все, что я должен сделать, – это делегировать деревянному забору задачу сдерживания моего стада – только тогда я могу пойти поспать рядом со своей собакой. Кто действует, пока я сплю? Я, плотники и забор. Выражен ли я в этом заборе так, словно я актуализировал вне себя способность, которой я обладал в потенциальном виде? Ничуть. Забор совсем не похож на меня. Забор – это не продолжение моих рук или моей собаки. Он существует вне меня. Это самостоятельный актант. Не появился ли он внезапно из объективной материи, готовый втиснуть мое бедное хрупкое сонное тело в его материальные ограничения? Нет, я загоняю скот в него именно потому, что он не обладает той же длительностью, протяженностью,

<sup>40</sup> Я использую это слово здесь для того, чтобы указать на *modus operandi*, где «артефакт» или «объект» означают результат действия.

<sup>41</sup> Это положение было принято многими символическими интеракционистами – см.: [46; 47], в особенности ее замечание о пограничных объектах. Все, что остается сделать в этом теоретическом наброске – отбросить понятия взаимодействия и символизма!

пластичностью, темпоральностью – короче, той же онтологией, – что и я. Но, загоняя в него скот, я могу перейти от комплексных отношений, требовавших моего постоянного внимания, к сложным отношениям, которые не требуют от меня ничего, кроме запираания ворот. Взаимодействуют ли со мной овцы, тыкаясь мордами в грубые сосновые доски? Да, но они взаимодействуют со мной благодаря забору, обособленному, делегированному, транслированному и мультиплицированному. И существует действительно полноценный актер, который отныне прибавляется к социальному миру овцы, хотя он обладает чертами, полностью отличными от их тел. Взаимодействие всегда обладает временной и пространственной протяженностью, и потому оно разделяется с не-человеками<sup>42</sup>.

Если мы хотим проанализировать не только обезьяны, но и человеческие общества, нам необходимо иначе взглянуть на само слово «взаимо»-действие. Это выражение означает, что во всех точках общества действие остается локальным и что оно всегда поражает тех, кто участвует в нем. Но оно также означает, что действие должно разделяться с другими видами актантов, рассеянными в других пространственно-временных структурах и обнаруживающими иные онтологии. Во время  $t$  я контактирую с лицами, которые действовали в  $t-1$ , и я соединяю ситуации вместе так, чтобы я сам действовал иначе в  $t+1$ . В ситуации  $s$  я оказываюсь связанным с ситуациями  $s-1$ , и я действую так, что последующая ситуация  $s+1$  оказывается связанной с моей. На вершине всего этого распределения, всей этой дислокации во времени и пространстве, находится взаимодействие, предполагающее актантные смещения<sup>43</sup>. Всякое «я», избранное в качестве точки отсчета, оказывается заранее конституированной совокупностью других «я», доступных ему в разнообразных формах долговечных вещей. Ни одна из этих дистанций не доказывает существования другого «уровня» или социальной структуры. Мы всегда движемся от одной точки к другой. Мы не избавляемся от взаимодействия. Но это последнее побуждает нас следовать множеству смещений. Как может актер сохраниться посреди этого многообразия? Посредством работы нарративного творения, которое позволяет «я» сохраняться во времени<sup>44</sup>. Как поддерживается сама нарративная конструкция? Телом – этой давней основой социальности приматов, помогающей и нашим телам поддерживать взаимодействия.

Поскольку взаимодействия фреймированы другими актантами, рассеянными во времени и пространстве, особое значение приобретают агрегирующие действия. К примеру, жизнь парижан может состоять из одних последовательных взаимодействий, но не следует упускать из виду множество служб наблюдения, которые пытаются каждый день подводить итог парижской жизни. Диспетчерские, управляющие светофорами; распределительные щиты во всех точках системы водоснабжения; огромное синоптическое табло, позволяющее французским энергетикам сделать необходимые расчеты до завершения второго фильма, транслируемого по первому каналу; компьютеры, просчитывающие маршруты и грузы, перевозимые мусороуборочными машинами; датчики, определяющие количество посетителей музея Орсе и т.д. В один день и от одного человека накапливается множество маленьких «я» – статистических «я», потому что он использовал свой автомобиль, спустил воду в унитазе, выключил телевизор, вынес свое мусорное ведро или посетил музей Орсе. И все-таки образуют ли те, кто собирают, компилируют и подсчитывают, некую социальную структуру, стоящую над людьми? Ни в коей мере. Они действуют в диспетчерских, которые точно также локализованы, точно так же слепы, точно так же помещены во фрейм, как и этот человек в каждое мгновение своего дня. Как же тогда они могут подводить итоги? Точно так же, как и этот человек в любой момент может подготовить себя для взаимодействия. Благодаря добавлению сенсоров, счетчиков, радиосигналов, компьютеров, перечней, формул, шкал, прерывателей, следящих механизмов – именно они делают возможной связь

<sup>42</sup> Этот пример и соответствующую теорию социального см.: [33].

<sup>43</sup> Семиотика выделяет три вида смещения: во времени, в пространстве и в новом актанте – например, в начале сказки: «Как-то раз, в сказочной земле, гном спокойно прогуливался...». Понятие смещения помогает нам избавиться от идеи, согласно которой, техника – это «эффективное воздействие на материю».

<sup>44</sup> Работа, необходимая для создания непрерывности «я», особенно хорошо заметна в теориях нарратива: [45].

между разными, весьма удаленными друг от друга местами (ценой установки дорогостоящего оборудования). Невозможно создать социальную структуру без такой компиляционной работы. Но можно объяснить эффекты упорядочивания в ней. Тысячи людей в Париже стремятся локально структурировать парижан, используя свое оборудование и свои категории. В этом состоит глубинная истина этнометодологии. Остается только вернуть забытое: средства конструирования социального мира.

Обратившись к этим практикам, объектам и инструментам, вы не станете спотыкаться о крутой порог, который, согласно прежней теории, разделяет уровень взаимодействия «лицом-к-лицу» и уровень социальной структуры, «микро» и «макро». Работа локализации, как и глобализации, всегда выполняется телами в отрезках времени и участках пространства, далеко отстоящих друг от друга. Иногда это дорогостоящий вопрос создания непрерывности во времени для индивидуального актора; иногда дорогостоящее суммирование взаимодействий большего или меньшего числа многих акторов. Нет необходимости выбирать свой уровень анализа в каждый данный момент: достаточно определить направление усилий и сумму, которую вы готовы потратить. Можно либо интенсивно знать многое о немногом, либо экстенсивно немногое о многом. Социальные миры остаются плоскими, без всяких складок, которые сделали бы возможным переход от «микро» к «макро»<sup>45</sup>. Например, диспетчерская, организующая движение парижских автобусов, действительно возвышается над множеством автобусов, но ей неизвестно, как создать структуру «над» взаимодействиями водителей автобусов. Она прибавляется к этим взаимодействиям. Старое различие уровней обусловлено простым невниманием к материальным связям, позволяющим связывать одно место с другими, и верой в чистые взаимодействия лицом-к-лицу.

В фундаментальной социологии сторонники социальной структуры с порога отвергали практические средства понимания локализации и глобализации, смещения индивидуального актора и переплетения взаимодействий. Или, скорее, они считали принятие во внимание материальных средств – вещей – необходимым для проведения различия между нами и обезьянами. Но они полагали эти средства простыми посредниками, чистыми носителями силы, проистекающей из другого источника – из общества *sui generis* или из совокупности индивидуальных рациональных человеческих существ. Такое сравнительное пренебрежение средствами осуществлялось трижды: сначала в машинах, затем в технологиях контроля и, наконец, в интеллектуальных технологиях. Структуралисты считали, что мы, по сути своей, были обезьянами, к которым прибавлялись простые протезы, здания, компьютеры, формулы или паровые машины. Но объекты – это не средства, а скорее посредники – так же, как и все остальные актанты. Они не передают покорно нашу силу – во всяком случае, не больше, чем мы покорно выполняем их указания. Изображая социальное общество, которое случайно обрело свое материальное тело, сторонники идеи социальной структуры в очередной раз воссоздали (вопреки своему желанию быть материалистами) новую форму спиритуализма. Говоря о социальном теле, они на деле говорили только о его душе. Они считали людей обезьянами, окруженными вещами. Чтобы иметь дело с социальным телом как телом, нам необходимо: а) относиться к вещам как к социальным фактам; б) заменить две симметричные иллюзии взаимодействия и общества обменом свойствами между человеческими и нечеловеческими актантами; в) эмпирически проследить работу локализации и глобализации.

*Перевод с английского Артема Смирнова  
Под научной редакцией Виктора Вахштайна*

---

<sup>45</sup> О необходимости отказа от выбора шкалы перехода от микро к макро для понимания относительных различий в величине см.: [13].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.
2. Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001.
3. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.
4. Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН, Институт Фонда «Общественное мнение», 2004.
5. Дюркгейм Э. Общественное разделение труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.
6. Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
7. Appadurai A. (Ed.). The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
8. Bijker W., Law J. (Eds.). Shaping Technology-Building Society. Studies in Sociotechnical Change. Cambridge, Mass: MIT Press, 1992.
9. Boltanski L., Thévenot L. De la justification. Les économies de la grandeur. P.: Gallimard, 1991.
10. Boudon R. (Ed.). Traité de sociologie. P.: PUF, 1992.
11. Bourdieu P., Wacquant L. Réponses. Pour une anthropologie réflexive. P.: Le Seuil, 1992.
12. Byrne R., Whiten A. (Eds.). Machiavellian Intelligence. Social Expertise and the Evolution of Intellects in Monkeys, Apes and Humans. Oxford: Clarendon Press, 1988.
13. Callon M., Latour B. Unscrewing the Big Leviathans How Do Actors Macrostructure Reality // Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro and Macro Sociologies / Ed. by K. Knorr and A. Cicourel. L.: Routledge, 1981. P. 277-303
14. Cheney D. L., Seyfarth R. M. How Monkeys See the World. Inside the Mind of Another Species. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
15. Collins H., Yearley S. Epistemological Chicken // Science as Practice and Culture / Ed. by A. Pickering. Chicago: Chicago University Press, 1992. P. 301-326.
16. De Waal F. Chimpanzee Politics. Power and Sex Among Apes. N.Y.: Harper and Row, 1982.
17. Denett D. C. The Intentional Stance. Cambridge Mass: The MIT Press, 1987.
18. Desrosières A. La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique. P.: La Découverte, 1993.
19. Dosse F. Histoire du structuralisme. Tome I. Le champ du signe, 1945-1966. P.: La Découverte, 1991.
20. Dosse F. L'Empire du sens. L'humanisation des sciences humaines. P.: La Découverte, 1995.
21. Dupuy J. P. Introduction aux sciences sociales. Logique des phénomènes collectifs. P.: Editions Marketing, 1992.
22. Fedigan L. M. Primate Paradigms. Sex Roles and Social Bonds. Montréal : Eden press, 1982.
23. Friedberg E. Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée. P.: Le Seuil, 1993.
24. Goodwin C. Seeing in Depth // Social Studies of Science. 1995. № 25(2). P. 237-284.
25. Goody J. The Domestication of the Savage Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
26. Haraway D. Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World. L.: Routledge and Kegan Paul, 1989.
27. Hennion A., Latour B. Objet d'art, objet de science. Note sur les limites de l'anti-fétichisme // Sociologie de l'art. 1993. №6. P. 7-24.
28. Heritage J. Garfinkel and Ethnomethodology . L.: Polity Press, 1984.
29. Hutchins E. Cognition in the Wild. Cambridge, Mass: MIT Press, 1995.

30. *Kummer H.* Vies de singes. Moeurs et structures sociales des babouins hamadryas. P.: Odile Jacob, 1993.
31. *Latour B.* Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1987.
32. *Latour B.* Les objets ont-ils une histoire? Rencontre de Pasteur et de Whitehead dans un bain d'acide lactique // L'effet Whitehead / Ed. by. I. Stengers. P.: Vrin, 1994. P. 197-217
33. *Latour B.* On Technical Mediation // Common Knowledge. 1994. Vol. 3(2). P. 29-64.
34. *Latour B., De Noblet J.* (Eds.). Les "vues" de "l'esprit". Visualisation et Connaissance Scientifique. P.: Culture Technique, 1985.
35. *Latour B., Lemonnier P.* (Eds.). De la préhistoire aux missiles balistiques – l'intelligence sociale des techniques. P.: La Découverte, 1994.
36. *Latour B., Strum S.* Human Social Origins. Please Tell Us Another Origin story! // Journal of Biological and Social Structures. 1986. № 9. P. 169-187.
37. *Lave J.* Cognition in Practice. Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
38. *Law J.* (Ed.). A Sociology of Monsters. Essays on Power, Technology and Domination. (Vol. 38). L.: Routledge Sociological Review Monograph, 1992.
39. *Law J.* Organizing Modernities. Cambridge: Blackwell, 1993.
40. *Lemonnier P.* Technological Choices. Transformation in Material Cultures since the Neolithic. L.: Routledge, 1993.
41. *McGrew W. C.* Chimpanzee Material Culture. Implications for Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
42. *Norman D.* Things that Make Us Smart. N.Y.: Addison Wesley Publishing Company, 1993.
43. *Porter T. M.* Trust in Number. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press, 1995.
44. *Power M.* (Ed.). Accounting and Science: National Inquiry and Commercial Reason. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
45. *Ricoeur P.* Soi-même comme un autre. P.: Le Seuil, 1990.
46. *Star S. L.* Layered Space, formal representations and long-distance Control: the politics of information // Fundamenta Scientiae. 1989. № 10(2). P. 125-155.
47. *Star S. L.* (Ed.). Ecologies of Knowledge. Work and Politics in Science and Technology. Albany: State University of New York Press, 1995.
48. *Strum S.* Agonistic Dominance among Baboons an Alternative View // International Journal of Primatology. 1982. № 3(2). P. 175-202.
49. *Strum S.* Almost Human. A Journey Into the World of Baboons. N.Y.: Random House, 1987.
50. *Strum S., Latour B.* The Meanings of Social: from Baboons to Humans // Information sur les Sciences Sociales/Social Science Information. 1987. № 26. P. 783-802.
51. *Thomas N.* Entangled Objects. Exchange, Material Culture and Colonialism in the Pacific. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1991.
52. *Wilson E. O.* The Insect Societies. Harvard U.P. Cambridge Mass: The Belknap Press, 1971.
53. *Wilson E. O.* Sociobiology, the New Synthesis. Cambridge Mass: Harvard University Press, The Belknap Press, 1975.

**Борис Андреевич Грушин  
(1929-2007)**

**Два интервью**

**Горький вкус не востребованности\***

**Путь в социологию**

Всю жизнь я провел в Москве (за исключением двух с половиной лет эвакуации и восьми лет работы в Праге). Школу окончил с золотой медалью и сразу поступил в Московский университет, на философский факультет. Я выбрал философский, потому что был одержим проблемами морали и шел туда, чтобы «улучшить наше поколение». Меня интересовали вопросы самоорганизации, самовоспитания, воспитания молодежи.

В философский факультет я вошел, как нож в масло, поскольку уже через три дня в составе студенческой бригады послали в колхоз, и первым моим знакомым там оказался Александр Александрович Зиновьев, а вторым, с которым мы проводили дни и ночи напролет, был Борис Шрагин, будущий известный обозреватель радио «Свобода». За один месяц Шрагин сломал все мои представления об этике, заявив, что надо заниматься только эстетикой и только Гегелем. Я начал думать об эстетике, но тут – после знаменитой философской дискуссии 1947 года по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» – произошла некоторая переориентация философского образования. На факультете по прямому указанию Сталина создали отделение логики (которого не было с дореволюционных времен). Поскольку я пришел на факультет едва ли не в куртке Павки Корчагина, я тут же «откликнулся на призыв партии и правительства» и призвал всю нашу группу (а я был тогда комсоргом) перейти на это отделение.

Жизнь была бурнейшая, были азарт, кипение страстей, поток новых идей. Это вовсе не было связано с Никитой Сергеевичем Хрущевым – время «оттепели» наступило много позже. Мы-то кончали факультет еще при Сталине. Были страшные процессы 49-го, 51-го годов, тем не менее те восемь лет на философском факультете (учеба плюс три года аспирантуры) могли бы мной переживаться всю жизнь. Это была блистательная пора побед, поражений, настоящей борьбы (я разделял и разделяю представление Маркса о счастье). Именно тогда уже происходило что-то очень серьезное, размывание общества мало-помалу начиналось, языки развязывались. Вернулись фронтовики, люди, которые видели Европу. «Железный занавес» был прорван войной. Эвальд Васильевич Ильенков, Александр Александрович Зиновьев, Владислав Жанович Келле пришли к нам на факультет с уже новыми если не идеями, то во всяком случае представлениями, новым видением жизни, мира. Перед войной они учились в знаменитом МИФЛИ. Ильенков всю войну провел в разведке с томиком Гегеля и привез с собой с фронта полное собрание пластинок Вагнера. Это была особая публика, блистательные люди, обожженные войной и очень острые на восприятие мира. С ними было интересно общаться, дружить, у нас начали складываться некоторые клубы, что в то время было чревато большими опасностями<sup>1</sup>. Как скажет позже Мераб Мамардашвили, «мы все ходили по краю бездны»...

---

\* Беседовали С.Ф.Ярмолюк и М.Г.Пугачева. Опубликовано в: «Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах». СПб.: РХГИ, 1999.

<sup>1</sup> Грушин Б.А. «Мы пытались ответить на кардинальные вопросы...» // Вопросы методологии. 1994. №1-2. С.18-27.

Наша группа – Зиновьев, Щедровицкий, Грушин – зарождалась (хотя по этому поводу можно иронизировать) как солидная организация: продумывали темы исследований, докладов, прорабатывались планы на годы. Главной «лабораторией», где мы выявляли приемы мышления, стал текст «Капитала» Маркса. Но свою диссертацию «Очерки логики исторического исследования», изданную позже (1961) в виде монографии, я делал на более обширном, в том числе естественнонаучном материале (история, языкознание, историческая геология, биология, космогония и т.д.). Мы рассматривали науку как единое целое, для нас она (речь шла о том, чтобы выстроить фронт исследований, который снимал бы границы между разными науками), была лишена идеологических характеристик и была направлена лишь на поиск, открытие и утверждение истины. Потом это дало повод обвинить нас в позитивизме.

Нашу группу мы сами окрестили «диалектическим станковизмом» – вначале для себя, в качестве маркера по отношению к официальной логике, а затем уже и для внешнего мира. Позднее к нам присоединился Мераб, а следом «младостанковисты» – Н.Алексеев, В.Костеловский, В.Швырев, В.Садовский, И.Ладенко, В.Финн, Д.Лахути и другие. Мы объявили поход как против формальной, так и против диалектической логики: о первой говорили как о «бессодержательной», а о второй – как о «бесформенной»...

Аспирантура для нас была вообще золотыми годами – не потому, что было много свободного времени, а потому, что работали нещадно, до двадцати часов в сутки. Зиновьев гениально «проскочил» со своей диссертацией. Его работа «Восхождение от абстрактного к конкретному в “Капитале” Маркса» без всяких преувеличений была выдающейся, он смог защититься, потому что тогда ее еще явно не поняли. Моя диссертация была написана в 55-ом году, по окончании аспирантуры, но ее уже по первому разу провалили начисто. На нас обрушилась беда. Достаточно сказать, что еще в 57-ом году, в начале «оттепели», портрет Щедровицкого повесили при входе, чтобы его не пускали на факультет. Столь опасным (по мнению начальства) было наше влияние на студентов. Так и ушли мы с факультета «ревизионистами». Только в 60-м декан Василий Сергеевич Молодцов сказал: «Грушин – редактор “Комсомольской правды” по отделу пропаганды, что же мы все называем его ревизионистом?». А Зиновьев и Щедровицкий так ревизионистами и остались.

Провалив мою защиту, меня оставили и без работы. Лишь спустя полгода, после массы неудач я попал – совершенно случайно – в «Комсомольскую правду», литсотрудником отдела пропаганды. Затем в 59-ом стал редактором отдела, членом редколлегии – началась совершенно сумасшедшая, чисто журналистская жизнь. Но при всем при том я преподавал философию на двух факультетах университета, учился на мехмате (у меня была задача – окончить еще и мехмат, чтобы заниматься современной логикой, что в общем не получилось). Это были надрывные 1956-1960 годы. У Зиновьева тогда выйдет первая книга, и он напишет мне убийственную дарственную надпись, которую я с болью храню до сих пор: «Известному пропагандисту идей марксизма-ленинизма [читай: бывшему логик] от автора».

В 57-м году я защитил диссертацию, но с журналистикой уже порвать не мог. В газете мне нравилось, такая живая жизнь была по мне, хотя я очень страдал от того, что ушел из науки и отходил от нее все дальше и дальше. Вместе с тем постепенно, мало-помалу в сознании складывалось представление, что можно соединить журналистику и науку. Вначале это были новые для тех времен жанры в журналистике – научная публицистика, социально-экономические очерки, дискуссионные клубы молодежи (в том числе нашумевший в то время спор о «физиках» и «лириках»). А потом пришла пора серьезного дела – социологии общественного мнения. Поскольку я занимался логикой научного сознания, то вполне естественно, что решил заняться логикой массового сознания.

Когда именно родилась идея создать Институт общественного мнения, я не помню. Думаю, это был результат коллективных усилий нескольких людей – не только моих, но и тогдашнего главного редактора «Комсомолки» Ю.П.Воронова, ее будущего главного редактора Б.Д.Панкина и моего зама В.В.Чикина. Я загорелся этой идеей и очень тщательно готовился, разрабатывая схему первого опроса. Он был проведен 10-14 мая 1960 года. Я к

тому времени уже очень многое воспринял от журналистики, в том числе стал дорожить формой подачи материала, к чему был совершенно равнодушен раньше. Поэтому я придумал такую форму. Мы понимали, что не можем провести всесоюзный опрос, и взяли 30-й меридиан, тщательно выбрав первую тему. В то время была достаточно скандальная история с американским летчиком Пауэрсом, его сбили, возникло известное напряжение, вместе с тем активно выступал в роли миротворца Хрущев. Поэтому весьма актуально звучала тема: «Удастся ли человечеству предотвратить мировую войну?». В десяти точках пулковского меридиана, начиная от норвежской границы и кончая регионом близ Тирасполя, по сто человек в каждой точке отвечали на три наших вопроса<sup>2</sup>. В качестве интервьюеров-организаторов выступали сотрудники и студенты двух факультетов МГУ – философского и журналистики. Мы оперативно провели этот первый опрос, за один день просчитали его, и 19 мая 1960 года «Комсомолка» вышла с красивой полосой: «Да! Отвечает 30-й меридиан».

Помню, мы просидели всю ночь в кабинете главного редактора, ожидая, как новшество будет принято в ЦК КПСС. Рано утром Воронову позвонили от «первого» и сообщили: «Никита Сергеевич, которому показали свежий номер, сказал: “Прекрасно”. Поздравляем с большим успехом». На следующий же день газета «Правда» (а получить от нее похвалу было совершенно невозможно) в коротенькой «Из последней почты» оказала нам полную поддержку, и мы торжествовали победу. Эта победа стала еще большей после того, как началось просто буйство в западной прессе по поводу того, что в Советском Союзе открыт Институт общественного мнения. Вот с этой полоски 19 мая 1960 года, собственно, и началась моя социологическая биография<sup>3</sup>.

Лишь после этого я засел за книги, перечитал все, что можно было прочитать про институт Гэллага и т.д. В организационном отношении у нас не было, конечно, никакой структуры. Был по-прежнему тот же отдел пропаганды, в котором работало четыре человека. Все делалось вручную, не существовало ничего похожего на сеть интервьюеров – а опросы становились все грандиознее, нужно было представить всю страну. Приходилось что-то изобретать. Немало писалось (и даже в учебниках), как тогда со всех московских вокзалов в различных направлениях, включая Хабаровск, отправились привлеченные нами проводники и по дороге опрашивали людей из разных городов и весей. Я уже был знаком с техникой проведения опросов, получил некоторую литературу и все делал осмысленно. Уже первый опрос мы проводили вполне грамотно. Что же касается собственно газетных опросов, то тут мы преуспели невероятно. Ведь приходили десятки тысяч писем, содержащих ответы на наши анкеты. И у меня до сих пор хранится около сотни тех, которые сыграли большую роль в моей научной жизни, породив первые идеи будущей концепции массового сознания. Конечно, такие опросы были нерепрезентативными (мы это всегда подчеркивали), они не отражали настроения всех слоев населения. Тем не менее такая информация также представляла огромный социологический интерес (если понимались границы ее значения).

С самого начала моей работы в социологии я отрицал так называемые общественные начала, зная, что науку бесплатно делать абсолютно невозможно. По мнению некоторых представителей академических кругов, Институт общественного мнения «Комсомолки» был явным «незаконнорожденным ребенком». «Прекрасно, – говорил я, – но ему очень повезло с матерью». Потому что газета была богата и влиятельна (тираж тогда был 18 миллионов), проблем с командировочными и т.п. не было никаких. Сначала мы с Чикиным все делали сами, потом поняли, что это физически невозможно, и потому начали нанимать целые армии интервьюеров, кодировщиков, счетчиков и т.д. И, конечно же, я пробивал через бухгалтерию оплату всем этим людям – у нас студенты просто кормились. Нам выделили зал в «Комсомолке». За семь лет мы провели 27 опросов.

<sup>2</sup> Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений: Проблемы методологии исследования общественного мнения. М.: Политиздат, 1967.

<sup>3</sup> «Комсомольская правда». 19 мая 1960 г.

В 1962 году (когда проходил пятый опрос) я уехал работать в Прагу, в журнал «Проблемы мира и социализма». Но оставался научным руководителем Института общественного мнения. Практически 8-10 раз в год приезжал в Москву, мне присылали материалы в Прагу на утверждение, согласование и т.д. Закрыли нас в конце 1967 года, после скандального опроса «Молодежь о комсомоле». Молодые уже ни во что не ставили ВЛКСМ, говорили, что думают, и в общем, если прибегнуть к современному языку, это была сплошная «чернуха». Сергей Павлович Павлов (тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ) этого перенести не мог. Кроме того, была и вторая причина – наш внутренний конфликт с Б.Панкиным. Я был уже доктором наук, естественно, тяготел к серьезной научной работе и отказывался проводить чисто газетные опросы. Газету же это не устраивало, причем по разным причинам (финансовые были последними, хотя и они присутствовали, поскольку проводить всесоюзный репрезентативный опрос было дорого). Панкин, к сожалению, не сумел понять, что научный институт будет гораздо больше помогать газете да и выглядеть солиднее. Так завершилась первая страница моей социологической биографии.

### **Годы в Праге и Институте философии**

Что удалось сделать в Праге за три с половиной года (в мой первый приезд туда в качестве сотрудника отдела философии)? Там ведь было не просто работать. Отдел возглавлял Э.А.Араб-Оглы, сотрудниками были мы с Мерабом Мамардашвили. Готовили теоретические статьи, проводили международные «круглые столы». Вместе с Г.Х.Шахназаровым я организовывал большую конференцию под названием «Коммунисты и демократия». Сегодня это звучит как компромат. А в действительности – это был серьезный шаг на пути изменений нашей тогдашней жизни.

В 1963-1965 годах при активной поддержке шеф-редактора журнала Алексея Матвеевича Румянцева мне удалось провести первое в истории международное социологическое исследование в странах социализма – Болгарии, Венгрии, Польше и Советском Союзе. За основу была принята моя программа «Актуальные проблемы свободного времени», реализованная в «Комсомолке».

В Праге я пришел и к своей главной (на всю оставшуюся жизнь!) научной теме – «массовому сознанию». Сам этот термин у нас был тогда решительно под запретом. Впервые он был введен в научный оборот Германом Германовичем Дилигенским и мной в 1966 году. Тогда и много раз потом пришлось пережить немало неприятностей из-за того, что я настаивал на массовом аспекте социального анализа, ибо это никак не согласовывалось с классовым подходом.

В Прагу я привез с собой большую пачку анкет, связанных с опросом о разводах. Вопросы в основном были открытые, рассчитанные на исповедальный тон. И вот однажды у меня на столе по случаю оказались одновременно пять писем-анкет, где люди (трое мужчин и две женщины) разных поколений, профессий, социальной принадлежности, из разных районов страны в одних и тех же словах описывали причины разводов. Я обнаружил в этих письмах одни и те же языковые клише. Все было бы просто, если бы эти формулы были почерпнуты из средств массовой информации (журналисты знают, сколь часто мы встречаем такие клише в письмах читателей). А здесь совершенно разные люди написали неканонический текст, который они не могли ниоткуда вычитать, потому что он противоречил официальной установке. Как, не сговариваясь, они могли произнести одни и те же слова? Какова была природа этого штампа – уже не текстового, а *штампа сознания*? Так у меня родилась идея «массового сознания» – существует нечто, не определяемое ни возрастом, ни профессией, ни статусом, ни набором других социально-демографических характеристик. Потом, в Таганроге, я уже докажу на огромном материале, что социально-демографические характеристики не столь существенны по сравнению с характеристиками массового сознания, когда речь идет о регуляторах человеческого поведения. Я просто

заболел этим и сел писать диссертацию по «миру мнений», где уже представала концепция: общественное мнение я определял через массовое сознание<sup>4</sup>.

Что же касается упомянутого международного исследования, то там поначалу все шло великолепно, пока А.М.Румянцев на посту шеф-редактора «Проблем мира и социализма» не сменил Ю.П.Францев (это был 1964 год). У меня сохранилось большое письмо (копия), которое я посылал Румянцеву, рассказывая о своих мытарствах.

Тут надо, видимо, немного вернуться к тому, откуда происходила вся наша социология. С моей точки зрения, она возникла одновременно в пяти центрах. Первый и самый главный – сектор «новых форм труда и быта» Г.В.Осипова в Институте философии, существовавший с конца 59-го года. Затем Институт общественного мнения «Комсомольской правды» и лаборатория В.А.Ядова на философском факультете Ленинградского университета. Тогда же начали свои исследования в новосибирском Академгородке В.Н.Шубкин и на Урале Л.Н.Коган. Поэтому реальными пионерами эмпирической социологии в стране я считаю именно Осипова, Ядова, Шубкина, Когана и Грушина.

Но было в то время и еще одно очень важное направление, сыгравшее активную роль в формировании советской социологии как науки. Это были люди, связанные с Юрием Павловичем Францевым, идущие из МГИМО – владевшие языками, знавшие западных авторов. Их было немало – Ю.А.Замошкин, В.С.Семенов, Э.А.Араб-Оглы, тот же Г.В.Осипов. На первом этапе больше всех из них, на мой взгляд, сделал Эдвард Артурович Араб-Оглы, занимавшийся демографией, социальной географией и шедший в социологию с этой стороны. В 1961 году, будучи заведующим отделом в «Проблемах мира и социализма», он организовал в Праге «круглый стол социологов-марксистов» (до тех пор дело совершенно неслыханное). Он пригласил туда и меня, где я познакомился со многими зарубежными социологами. Так, собственно, я впервые увидел Прагу и понял, что в этом международном журнале в принципе можно работать (раньше меня многое смущало). Тот «круглый стол», ставший возможным благодаря личным знакомствам Араб-Оглы с видными фигурами того времени, получил очень серьезный отклик, потому что это была первая партийная поддержка социологии («Проблемы мира и социализма» – был все-таки международным органом коммунистических партий). До сих пор у социологии не было официальной партийной поддержки. Араб-Оглы опубликовал отчет об этой встрече, и потом долго-долго в борьбе с мастодонтами-истматчиками мы размахивали журналом, приводя цитаты из выступлений на «круглом столе». У меня и сейчас хранится та публикация.

Сам Юрий Павлович Францев был очень сложной фигурой. Египтолог с большим будущим, в молодости он загубил себя, «продавшись большевикам», как говорил сам, и никогда не мог себе этого простить. Отсюда, возможно, та желчность, которая постоянно проявлялась у него во взаимоотношениях с окружающими. Когда он появился в Праге, работа у нас с ним не сложилась. При Румянцеве мы опубликовали в журнале результаты исследования, проведенного в Болгарии. Потом, уже при Францеве, издали польскую часть исследования. А когда дело дошло до венгерской части – все застопорилось (о публикации результатов исследования, проведенного в СССР, уже не могло быть и речи). Проявилась какая-то странная ревность к редактору-предшественнику и начатой при нем исследовательской работе. Мы планировали опубликовать пять текстов – четыре по отдельным странам и последний, совместный наш с Румянцевым, аналитический обзор, подводивший итоги. Остановив публикации, Францев, по сути, не дал возможности завершить крупное международное исследование. Оно было изуродовано, и в конце 1965 года я вынужден был уйти из журнала.

Когда я вернулся из Праги, то обнаружил, что многие мои приятели по журналу (Амбарцумов, Арбатов, Жилин, Загладин, Фролов) пошли в большую политику. Из нашего круга, по-видимому, лишь мы с Мерабом (а потом и Араб-Оглы) не сделали этого. И просто

---

<sup>4</sup> Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М.: Политиздат, 1987.

потому, что, как сказал однажды Мераб, мы никогда не были «шестидесятниками», «родились немного раньше» и «никогда не участвовали в чужих войнах, ведя свои».

Я возвращался из Праги тяжело. Алексей Матвеевич был тогда главным редактором «Правды» и уже взял к себе «пражанина» Ю.Карякина. Я сказал, что готов идти в «Правду», если мы откроем там Институт общественного мнения, переведя его из «Комсомолки» на более высокий уровень. Но Румянцев не сумел этого сделать. Отказавшись от других газетных предложений, я пошел старшим научным сотрудником в Институт философии, в отдел исторического материализма В.Ж.Келле. Потом, после создания социологического отдела Осипова, я перешел к нему в качестве заведующего сектором изучения общественного мнения.

Дальнейшая история создания ИКСИ довольно известна. Но не все помнят, что в 1970 году в структуре ИКСИ был создан Центр изучения общественного мнения во главе со мной. У меня тогда в отделе был 41 человек, так вот часть из них – Нейгольдберг, Капелюш, Токаровский – начали «по совместительству» работать и в этом центре. Главным же «освобожденным» исследователем там был Том Петров – историк, прекраснейший человек, к сожалению, рано умерший. Тогда мы провели всего три всесоюзных опроса, поскольку первый год потратили на построение всесоюзной выборки. Она была выполнена С.Чесноковым, нашим знаменитым математиком, и получила название «Весна-71». В 72-м в институт пришел Руткевич, и наш центр сразу же был закрыт.

Впрочем, стагнирование в социологии началось уже в 1968 году. Именно тогда Леваде отказали в чтении общего курса социологии на факультете журналистики МГУ – еще до обсуждения в АОН при ЦК КПСС его лекций. На том же памятном обсуждении (лучше сказать, осуждении) я безоговорочно, по всем пунктам защищал Леваду, произнеся роковую фразу по адресу сидевших в президиуме: «Мертвые хватают живых!». Видимо, это и дало повод Константинову потом не раз повторять, что «Грушин хуже Левады».

К этой общей ситуации в нашей социологии я еще вернусь, а теперь, видимо, следует подробнее рассказать о главном деянии в моей социологической биографии – таганрогском проекте.

### **Таганрогский проект и «вокруг него»**

Это действительно была эпопея – самый крупный проект в истории отечественной социологии и один из крупнейших в рамках мировой социологии в целом (хотя, сознаюсь, звучит это не очень-то скромно). Он включал в себя 76 (!) разных исследований, 72 из которых были реализованы полностью. И чтобы хоть что-то рассказать о Таганроге, следует остановиться, как минимум, на шести разных сюжетах. Первый связан с *разработкой теории и методологии этого исследования*, второй – с *кадрами*, третий – с *материально-техническим обеспечением*, четвертый – с *организацией работ*, пятый – с *общим социальным контекстом*, в котором реализовывался проект, и шестой – так сказать, с *итогами, последствиями* реализации проекта.

**О теории и методологии.** Проект разрабатывался на основе серьезных заделов, которые уже имелись к тому времени. В январе 1967 года я защитил докторскую диссертацию, вышла книга «Мнения о мире и мир мнений», были очень серьезные наработки, связанные с функционированием общественного мнения, – это с одной стороны. С другой – моя книга по логике исторического исследования давала серьезные основания для того, чтобы двигаться в области методологии социального познания; был и первый опыт создания «частной» социологической теории (как оценил это в «Литературной газете» Ю.Левада) на примере исследования свободного времени. Кроме того, накопились достаточно приличные знания того, что делалось на Западе (по крайней мере, работы Шрамма, Берельсона, Элюля, Лассуэлла были «пройденны»); речь шла о том, чтобы найти собственный способ построения всей теоретической конструкции, и в общем эта теоретическая работа в 66-67-ом годах была выполнена.

В проект пришли люди чрезвычайно сильные с точки зрения рождения идей, они принципиально обогатили отдельные части моей общей конструкции. Я назвал бы здесь по меньшей мере трех человек – Виктора Яковлевича Нейгольдберга, Тамару Моисеевну Дридзе и Александра Васильевича Жаворонкова. Были и другие сильные специалисты (скажем, очень глубокую работу, связанную с языком информации, проделал Михаил Мацковский), однако в отличие от названных они скорее работали над «детальями» общего грандиозного сооружения.

Программа исследования, где давалось «расчленение» всего материала и предлагались достаточно оригинальные схемы, в том числе новаторские, вышла потом в «47 пятницах» (в первом выпуске), с ней все могли ознакомиться. Однако она, по сути, не была оценена именно с точки зрения теоретической. Использование и пропаганда этого материала были связаны в основном с эмпирией – и действительно эмпирическая часть исследования получилась бесценной, уникальной. Но для меня главный интерес представляли тогда все-таки теоретические наработки, в том числе принципиальные схемы, связанные с самой информационной структурой общества. К сожалению, теоретическая часть всего дела была пропущена нашим читателем, потребителем этой информации, хотя там, на мой взгляд, содержались очень серьезные и совершенно новые идеи, которые до сих пор могли бы играть большую роль в понимании того, что вообще происходит с массовой информацией в обществе.

Немало сложностей было связано и с методологией исследований, поскольку в нашем распоряжении не было ни методов, ни техники решения поставленных задач. Ведь нам предстояло проследить и измерить и процессы производства информации на уровне власти, и процессы ее канализирования, передачи публике, и процессы потребления публикой этой информации, ее переработки в сознании людей, и, наконец, процессы производства информации самой публикой и ее передачи – в обратном направлении, к власти.

Собственно, идея Таганрогского проекта исходила из отдела пропаганды ЦК КПСС и была связана с тремя фигурами: тогдашним первым заместителем (отсутствующего) заведующего отделом А.Н.Яковлевым, будущим главным «архитектором перестройки», зам.зав.отделом Г.Л.Смирновым, сыгравшим главную роль в реализации проекта; и «офицером по связи», без которого вообще ничего бы не состоялось, – Леоном Аршаковичем Ониковым, консультантом отдела, курировавшим тогдашнюю социологию. «Таганрог» включал в себя на первом этапе четыре разных проекта. При этом с самого начала в ЦК выразили желание выяснить лишь уровень жизни населения, его благосостояние, но Оников настаивал на комплексном исследовании (помню, он попрекал нас в то время, что каждый занимается «своим» – Ядов трудом, Грушин сознанием – и никак это между собой не связывается). Затем пропагандистов волновала хозяйственная преступность, и самый первый проект в рамках «Таганрога» был разработан как раз институтом по изучению преступности, который возглавлял В.Н.Кудрявцев. Вторым стал проект ЦЭМИ и ИМРД по исследованию образа жизни (поскольку без этого нельзя было понять природу «несунов» – расхитителей соцсобственности). Этот проект возглавляли Наталия Михайловна Римашевская и Леонид Абрамович Гордон (каждый в своем институте). Они составили очень удачный тандем, сделали хорошую программу и должны были произвести посезонные измерения одних и тех же показателей (за год), чтобы получить некие модели образа жизни разных слоев населения. Потом выяснилось, что отделу пропаганды не хватает «идеологии» – связей всех этих явлений с партийной работой, решениями партийных органов и т.д. Была приглашена третья команда – социологическая лаборатория Академии общественных наук, возглавляемая И.Г.Петровым. Однако вскоре выяснилось, что эти люди не очень умелы в исследованиях, что они ограничивают свои задачи анализом сугубо партийной работы. И тогда-то позвали нас.

Работа началась в 1966 году, когда я предложил Оникову нашу «грандиозную» схему и когда он на нее «купился». Я доказал ему, что партийная идеологическая работа не должна пониматься узко, что она – часть общей информационной системы, существующей в

обществе, и что поэтому в исследование надо включать все публичные формы информации. Наш проект так и назывался – «Функционирование общественного мнения в условиях города и деятельность государственных и общественных институтов».

Первый сделанный нами прорыв – не заниматься узкой пропагандой, а брать всю информацию, во всех ее видах, во всех формах контактов публики с властью и на всех уровнях реализации этих контактов – открывал весьма широкий взгляд на жизнь общества. Мы прибегли тогда к образу «волчка» с четырьмя уровнями информационных отношений между населением и властью: 1) страна в целом, центральная власть и каналы центра; 2) область и каналы области; 3) город и каналы города; 4) подразделения города и каналы этого уровня.

Это дало возможность выстроить общую схему исследования. Чисто институционально мы брали все типы общественных и государственных институтов, включая средства массовой коммуникации, средства массовой устной пропаганды (в том числе деятельность общества «Знание»); письма трудящихся, отправляемые в разные инстанции; собрания общественных организаций, коллективов предприятий, учреждений; контакты населения с депутатами Советов и работниками органов управления. При этом в исследовании рассматривались все типы органов управления: партия, государство, советы, комсомол, профсоюзы, органы правосудия, милиция и т.д. снизу доверху. К примеру, партийные органы – от райкома партии или секретаря парткома завода до ЦК КПСС и т.д.<sup>5</sup>

Ясно, что для понимания всех этих многочисленных и разнообразных форм информационного взаимодействия власти и населения мы должны были во многих случаях стать первопроходцами при разработке методов и техник таких полевых работ, как контент-анализ писем или документов собраний, массовое интервьюирование и тестирование и т.п. Т.М.Дридзе тогда впервые применила в полевых условиях семантический дифференциал Чарльза Осгуда (хотя американцы полагали, что это невозможно сделать «в поле»). В.Я.Нейгольдберг и Я.С.Капелюш разработали оригинальный дневник, который ежедневно должны были вести функционеры города с целью фиксирования своих контактов с населением. В целом в рамках проекта в 23 исследованиях был применен анкетный опрос, в 17 – интервью, в 18 – контент-анализ разных текстов и т.д. В ходе полевых работ были заполнены 8882 бланка самофотографии, проведены 471 акт наблюдения, 10762 интервью и т.д. Всего в проекте было 85 полевых документов общим объемом 58,7 п.л. – и это одних только документов!

**О кадрах.** Этот аспект я выделяю не потому, что «кадры решают все», а потому что в социологии их просто не было, их нужно было готовить «по дороге». Это обстоятельство не может упускаться из виду, если оценивать итоги «Таганрога», в том числе и те минусы, которые оказались неизбежными: в сжатые сроки нужно было найти и научить людей тому, чего не умел и сам (поскольку самому приходилось тоже учиться) – такова была задача. При этом формально я был, пожалуй, единственным человеком, который ничего не выиграл от таганрогского проекта. Те, кто пришел ни с чем, стали затем кандидатами, докторами наук. А приходилось набирать очень много людей. Я до сих пор считаю, что чем меньше сотрудников, тем лучше. Мой идеал – максимум два человека, потому что, как правило, легче сделать что-то самому, чем объяснять другим.

Через «Таганрог» прошло больше 50 штатных сотрудников, не считая сотен (!), которые работали в полевых условиях в качестве интервьюеров, контролеров, супервайзеров. В целом с кадрами мы справились, хотя немало сложностей возникало из-за того, что некоторые сотрудники оказывались не только мало знающими и мало умеющими, но и не способными что-либо узнать и уметь делать. Тогда условия, с точки зрения трудового законодательства, были чрезвычайно сложными, уволить никого было нельзя, взять временно – тоже. Однако я уволил в конечном счете человек восемь-десять. При этом

---

<sup>5</sup> Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт комплексного социологического исследования / Под общ.ред. Б.А.Грушина и Л.А.Оникова. М.: Политиздат, 1980.

дважды это было сопряжено с огромным нервным напряжением. Что и говорить, наука давалась большой кровью. Недавно мы хоронили Вадима Васильевича Сазонова, и тогда я вдруг осознал, что из тех шестерых, кто начинал «Таганрог» в 66-ом (а это были Виктор Нейгольдберг, Яков Капелюш, Георгий Токаровский, Вадим Сазонов, Вера Войнова и я) мы остались с Верой вдвоем, хотя все, кроме Виктора, были моложе меня.

С главным мне повезло. В проекте было много отличных, преданных делу людей, просто фанатиков, типа Токаровского или Жаворонкова. Ведь Саша Жаворонков до сих пор занимается информацией Таганрога и, можно сказать, сделал максимум возможного и невозможного для ее сохранения в памяти нашего общества. Вообще людей, которые стали хорошими мастерами, которые очень старались, у нас оказалось многократно больше, чем тех, кто шел «в обозе». Причем основной состав сохранялся на протяжении почти всех лет, хотя некоторые уходили, решив свои личные задачи (как, например, Коробейников после защиты диссертации) или «дрогнув» после появления в институте М.Н.Руткевича. У нас ведь был принцип круговой помощи, когда люди работали друг на друга, и предполагалось, что усилия и услуги, оказанные тобой другому, будут затем возвращены и тебе.

В целом на материалах «Таганрога» было защищено более 20 (!) диссертаций – уникальный случай не только в нашей социологии. Люди очень основательно «продвинулись», многие до сих пор активно работают в науке и добрым словом вспоминают таганрогскую школу. В том же Институте социологии – Возьмитель, Дридзе, Жаворонков, Райкова, Таршис, Мацковский. Группа, пришедшая к нам с факультета журналистики МГУ, до сих пор трудится на факультете «дружной стаей», ни один не ушел – работают очень активно в области социологии массовой коммуникации. Сложившееся содружество могло бы стать серьезной научной школой, если бы не внешние обстоятельства, если бы не общий социальный контекст, который полностью исключал и исключил такую возможность.

**О материально-техническом обеспечении.** Это был воистину «эфиопский» труд. Некоторые люди, в том числе вялые, мало работавшие в проекте, хотели даже сбросить меня с руководителей, посеяв миф о «грушинской эксплуатации». В действительности же у нас просто не было условий для какого-либо облегчения труда.

Мы, как и вся социология того времени прошли некие символические этапы на уровне помещений: «подпольный», когда наука существовала, по сути, вне институций; «подвальный» – когда был создан ИКСИ, но без «жилья», и все сидели в подвале на Писцовой (а в проекте к тому времени было уже 15 человек) с одним-единственным столом на всех; затем у нас был «ясельный» период, когда проект размещался в яслях на Кожуховской улице; потом «детский сад» на 6-ой Парковой в Измайлово; затем «школа» на Новочеремушкинской. А в промежутке был еще период, когда мы сидели в московской ВПШ на Ленинградском проспекте, напротив гостиницы «Советская». И все это при огромных архивах, которые нужно было возить с места на место, и главное – при отсутствии техники и денег на накладные расходы. Конечно, мы получили большие деньги на исследования, но воспользоваться ими для облегчения собственной жизни никак не могли. К тому же мы все время экономили на всем, обижали наших интервьюеров в Таганроге, недоплачивали им, штрафовали за ошибки. Денег было много, но все они ушли на «поле». Две пишущие машинки, пять столов и полное безденежье – в этих условиях мы завершали проект в 1974-м.

**Об организации работ.** Мы испробовали многие формы организации, но остановились на чисто «китайской», соответствовавшей нашему безденежью, отсутствию техники и т.д. Первое таганрогское «поле» состоялось в декабре 1967 года. Вроде можно было бы просто поехать и провести это «поле». Но нет, мы с самого начала создаем таганрогскую лабораторию, понимая, что нам предстоит «провернуть» не одно, а 70 исследований. Единственным в то время «свободным художником» в команде был Вадим Сазонов, аспирант Института философии, и именно ему я предложил поехать организовывать эту лабораторию. За короткий срок Вадим создал уникальную (по тем временам невиданную!) систему документации, связанной с планированием, ходом полевых работ и контролем, с

отчетностью, оплатой труда и т.д. Позже, в ноябре 1969 года, я попытался обобщить наш огромный организационный опыт. В течение девяти дней «под стенограмму» я прочитал 18 лекций (43 часа) на эту тему. Предполагалось издать книгу «Социологическая лаборатория». Но в 1972 году Руткевич выкинул ее из плана издательства «Наука»...

**Об общем контексте реализации проекта.** Мы начинали работу в весьма благоприятной ситуации. Формально у нас был очень сильный заказчик – ЦК КПСС. Однако уже с первого дня работы мы осознавали, что вся эта информация никому не нужна. В принципе проект был призван решить две задачи: выявить реальное положение вещей и найти оптимальные способы усиления эффективности информационной деятельности в обществе. Так вот, объективное положение вещей мы выявили, и многих оно совершенно не устраивало. При всей нашей идеологизированности мы тем не менее работали честно, отнюдь не на «потребу» и преподносили свою информацию без ссылок на ХХ или какой-либо еще съезд партии. В результате заказчику наглядно показывали: депутаты не работают, СМИ не функциональны, вся ваша работа – система кампаний. И так по каждому поводу. Никогда не забуду, как прибежали люди от Демичева и сказали, что по нашим данным – народ неграмотный и не разбирается, «кто есть кто» и «что есть что». Отдел пропаганды был раздражен, когда выяснилось, что только треть населения понимает популярные пропагандистские термины. Это были сплошные нервы, нас все время тащили «на ковер», потому что информация была неприятной, требовавшей каких-то действий и решений. А они там (в отделе пропаганды) сидели совершенно для другого. Они хотели не менять, а продлевать то, что имеют. Любые перемены для них были сопряжены с риском.

Это вообще был огромный минус в нашей работе – изначальное и постоянное ощущение невостребованности, ненужности твоего дела. Социология, которую мы создавали тогда с Левадой, Ядовым, Шубкиным и другими, не устраивала власти принципиально, потому что не просто требовала каких-то активных движений, но разоблачала многие мифы о совершенстве данного общества. Именно это обстоятельство лежало в основе того погрома, который учинили в 69-ом по поводу лекций Левады. Социология была не просто не нужна – она была опасна. Это стало понятно многим после первых же серьезных исследований, проведенных в те годы.

У меня сохранился большой подбор откликов на Институт общественного мнения «Комсомольской правды» в западной прессе. Его материалы они противопоставляли самой доктрине о том, что советская молодежь – самая лучшая, что советское общество – самое лучшее, что все живут у нас в полном благолепии и т.п. То же случилось и с книгой «Человек и его работа». Казалось бы, ну что там было опасного? А то, что миф о коммунистическом отношении к труду был взорван. И отсюда – огромные трудности с публикациями результатов наших исследований. Только сугубо академический журнал «История СССР» опубликовал, к примеру, результаты опроса ИОМ «КП» по поводу движения бригад коммунистического труда. Сколько я ни старался, я так и не смог опубликовать свою книгу о разводах, написанную в 1964 году, где за цифрами опросов представала страшная женская доля. И так далее.

Да, социология с самого начала была опасна. Левада своими лекциями это живо обнаружил. И хотя критики цеплялись в основном к его отдельным «лихим» словам и фразам, все это было пустяками. Главное, что социология, о которой говорил Левада, перечеркивала другую социологию – ту, что называлась «историческим материализмом». Именно из-за этого разгорелся тогда весь сыр-бор. И этот погром очень многими, особенно самими социологами, был воспринят как призыв к откату. Именно с 1968-1969 годов мы и продолжаем откатываться до сих пор. Особенно в плане теоретической социологии. Ужесточение режима само по себе было не так страшно (ведь многие из нас могли работать и работали при любом режиме!). Хуже было другое – что в еще не сформированной армии исследователей был подорван интерес, утрачен вкус к серьезной работе. Часть была напугана, часть продалась – это было видно. И потому работать тогда становилось все труднее и труднее.

В 71-ом году Алексей Матвеевич Румянцев сделал явно опрометчивый шаг – подал заявление об отставке, которое неожиданно приняли. То, что его освободили от вице-президентства, было понятно: там он был абсолютно чужой человек. Но институт у академика никто бы не отобрал – это очевидно. И в этом деле я тоже чувствую себя в какой-то степени виноватым, потому что Алексей Матвеевич не справлялся с внутренней ситуацией в институте и очень мучился из-за конфликта между Осиповым и Бурлацким. Этот конфликт принимал подчас тяжелые формы, причем прав был то один, то другой, в зависимости от предмета спора. Поэтому наша армия (я имею в виду работавших там людей, а не начальствовавших) старалась не принимать участия в том конфликте. Он очень мешал делу, а мы считали, что просто должны работать. В 70-ом году с диагнозом «второй инфаркт» я пребывал после больницы в академическом доме отдыха «Успенское». На майские праздники ко мне приехал Алексей Матвеевич с просьбой, чтобы я стал третьим заместителем директора. Я категорически отказался и в этом смысле не помог ему в сложившейся ситуации. Он был прекрасный, честный человек, естественно, не «игрок» – и подал эту бумагу, ни с кем из нас не посоветовавшись. В результате директором, как известно, стал Руткевич при активной поддержке отдела науки ЦК.

Тогда ведь была очень специфическая ситуация и в самом ЦК – отдел пропаганды, который курировал социологию, и отдел науки, который ее контролировал, находились просто на ножах. Трапезников, с одной стороны, и Яковлев – с другой. Совершенно разные люди, разного поля ягоды. Именно отдел науки без конца третировал реальную, конкретную социологию. А тут началось фронтальное наступление.

Я нашел у себя объяснительную записку в отдел науки, датированную 72-м годом. Дело в том, что осенью 68-го года я был на стажировке во Франции, в Институте общественного мнения Жана Стёцеля (дочернем предприятии Гэллапа). Тогда французские коммунисты попросили меня выступить с лекцией у них в ячейке Поля Элюара. И я выступил. Член Политбюро Французской компартии Ги Бесс в какой-то связи позвонил Суслову и сказал, что я нес непопустительную критику во время той лекции. Может быть, он позвонил тогда же, в 68-ом году, да этому не дали хода. Но теперь ситуация изменилась, и ход дали. Я вынужден был написать довольно резкое объяснение. Но тем дело не кончилось.

В свое время в журнал «Вопросы философии» (где я как член редколлегии вел раздел социологии) поступила статья академика А.Д.Александрова, математика, который «перекинулся» на социологические проблемы. Статья была против Ю.А.Левады (сразу после погрома), и я ответил, что легко и просто критиковать человека после того, как его растоптали, однако честные люди не должны в этом участвовать.

Между тем тогда же (в 70-м году) в «Вопросах философии» была опубликована моя статья «Логические принципы исследования массового сознания» – первый теоретический итог моих многолетних занятий главным сюжетом жизни. Статья вызвала множество отзывов (особенно дорог мне был отзыв Ядова, моего старого друга, который полностью меня поддержал). Однако были отзывы и другого рода, в том числе того же академика Александрова. Явно оскорбившись по поводу моего ответа, связанного с критикой Левады, он написал новую статью, уже против меня. Когда академик прислал текст в редакцию, ему ответил уже В.Ж.Келле как заведующий отделом – статью отвергли. Автор ее забрал и, видимо, стал ждать своего часа.

Этот час наступил спустя два года, в 72-ом году, когда к власти в социологии пришел Руткевич. В «Вестнике Академии наук СССР» А.Д.Александров при полной поддержке П.Н.Федосеева опубликовал совершенно погромный текст, где, между прочим, были и такие слова: «...автор просто не понимает, что такое наука и каковы ее элементарные требования... Б.А.Грушин в своем метафизическом противопоставлении функционирования и развития объективно теряет из поля зрения эту, казалось бы, очевидную постановку главной проблемы социологии советского общества»<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Александров А.Д. В защиту социологии // Вестник Академии наук СССР. 1972. № 7. С.51.

Я выполняю в институте таганрогский проект, но – поскольку объявлен антимарксистом и антиученым, просто человеком, стоящим вне науки, – меня заставляют выйти с объяснением на ученый совет института. Я пишу тезисы, Руткевич заявляет, что тезисы «еще хуже», почти год тянется эта история... Людей выгоняют одного за другим, я совершенно не собирался быть лидером оппозиции, хотя по характеру действительно оппозиционер, но так получилось. Выгнать меня Руткевич не мог, потому что я был как бы под крышей отдела пропаганды. Я дважды писал Смирнову – просил перевести меня куда угодно вместе со своей командой (нас осталось из 40 всего 7 человек), здесь не было гарантии, что мы завершим проект. У нас ведь еще оставались машинная обработка, анализ... О накале страстей в институте свидетельствовало партийное собрание в январе 1974 года и мое выступление на нем, которое Г.Г.Квасов назвал «эмоциональным хулиганством».

**Об итогах.** По результатам анализа полученной гигантской информации мы подготовили к печати два тома. Первый том вышел в Политиздате в 1980 году, спустя шесть лет после его написания (!), там речь шла о потоке информации от структур власти к населению. Второй том – о потоке информации от населения к власти – был зарублен. Вот отзыв на него академика Д.М.Гвишиани: «Работа вряд ли может быть рекомендована к изданию в виде монографии, т.к. не содержит научно-достоверных выводов, обобщений ни относительно методов изучения вопросов, ни относительно существенных механизмов, факторов, процессов, конституирующих данное явление. В рукописи содержится ряд утверждений, публикация которых может дать превратное представление о деятельности советских и партийных органов»<sup>7</sup>.

А вот строки из отзыва, утвержденного на заседании совета отдела прикладных социальных исследований ИСИ (руководил им В.Н.Иванов): «Рукопись автора развивает весьма спорные и подвергавшиеся критике положения теории массового сознания, содержит ссылки на работу, тираж которой был аннулирован...<sup>8</sup> Все вышеизложенное заставляет сделать вывод: 1) открытая публикация работы в таком виде нецелесообразна; 2) публикация работы под грифом “ДСП” может быть рассмотрена после доработки рукописи и повторного обсуждения»<sup>9</sup>.

Таких рецензий было достаточно, чтобы книгу зарубили. И этот факт снова доказывает, что даже ЦК КПСС, его отдел пропаганды уже не был всесильным. Ситуация менялась кардинально.

Кроме того, мы написали 29 докладных записок в Секретариат ЦК КПСС, которые, похоже, вообще там не рассматривались. Среди последних из них – «Общая картина передачи информации населением в органы управления», «Гласность в работе местных органов управления», «Общественное мнение в процессе принятия решений местными органами управления», «Отражение проблем городской жизни в сознании населения и деятельность органов управления». Эти тексты явно никому не были нужны, но с их помощью мы смогли все же формально завершить проект, поставить в его истории в ИСИ последнюю точку.

Издательские неудачи были нашим самым большим поражением. С 1967 года мы вели методологические семинары – всего их было 47, проходили они по пятницам. Там обсуждались программы и полевые документы, как правило, по основным исследованиям или блокам исследований. Предполагалось, что по их материалам выйдет 47 выпусков – «47 пятниц» (было соответствующее решение дирекции), которые представят программы и полевые документы с инструкциями, чтобы «вооружить» нашу начинающуюся социологию

<sup>7</sup> Личный архив Б.А.Грушина.

<sup>8</sup> Речь идет о работе: *Капелюш Я.* Общественное мнение о выборности на производстве: Информационный бюллетень № 39 (54). Серия: материалы и сообщения / Научный совет АН СССР по проблемам конкретных социальных исследований; Советская социологическая ассоциация; Институт конкретных социальных исследований АН СССР. М., 1969. Тираж был уничтожен, 1 экземпляр имеется в Историко-социологическом архиве ИСАН, поступил на хранение в составе личного фонда В.Я.Нейгольдберга. – *Прим.ред.*

<sup>9</sup> Личный архив Б.А.Грушина.

(плюс лекции по теории и организации проекта). Произошло же следующее. Первый выпуск появился в 69-ом году, где была опубликована программа проекта в целом и материалы первого подпроекта. После него вышел пятый выпуск с сюжетами контент-анализа, подготовленный Вадимом Сазоновым. Потом были последовательно подготовлены II, III и IV выпуски, но тут уже начались проблемы с цензурой. Считалось, что это – абсолютно засекреченная информация, даже сами техники и процедуры исследований, не говоря уже о нашем взгляде на вещи. Пока готовим выпуск, все вроде идет нормально. Потом приходит «первый отдел» и говорит: «Вы что, с ума посходили – публиковать такое?». В результате четвертый выпуск (о деятельности Советов) был уничтожен на корню, а тираж второго арестован и запрещен к распространению. В сложившейся ситуации я предпринял другую попытку: вместо «47 пятниц» издать 50-70 выпусков с последовательным представлением количественных результатов исследований. Однако после первых пяти-семи опусов и с этими изданиями было покончено.

Вот вам и весь «Таганрог». Работа проведена грандиозная, результаты получены уникальные. Но никому не нужные. Ни тогда, ни теперь...

В итоге 1974-1983 годы стали для меня годами новых скитаний. На полном серьезе я хотел уйти в энтомологию. Меня всю жизнь смущала биография Набокова, правда, к бабочкам я был равнодушен, но любил жуков.

Хорошо понимая общую ситуацию, я не переживал мое изгнание из социологии. Время жить и время умирать... Но было очень больно от сознания того, что не состоялась собственная «школа», не получили надлежащего признания итоги «Таганрога». И совсем уже мучительно переживались факты личного предательства со стороны некоторых сотрудников проекта, «переметнувшихся» к Руткевичу. Двое из них – аспиранты А.В.Корбут и Е.Г.Андрющенко – самовольно сняли мое имя как научного руководителя со своих диссертаций, чтобы успешно защититься. Это было совершенно невыносимо.

Но я все-таки не стал энтомологом, меня приютил академик Н.П.Федоренко, директор ЦЭМИ, по просьбе А.М.Румянцева и Ю.А.Левады, бывших там в то время старшими научными сотрудниками. Они вместе пришли к Федоренко и попросили помочь Грушину, не снижая его статуса, дабы не засвидетельствовать, что он «проиграл Руткевичу». В ЦЭМИ под моим началом создали лабораторию (по изучению образа жизни) в отделе Наталии Михайловны Римашевской – еще одного моего прекрасного начальника. Здесь была хорошая обстановка, Федоренко сделал меня своим заместителем по институтскому («докторскому») методологическому семинару. И все же в ЦЭМИ я был чужим. Кроме того, после статьи Александрова моя фамилия оказалась в специальном списке, исключающем возможность цитирования. Я не опубликовал в те годы ни одной работы и потерял возможность выезжать за границу. В 77-ом году с помощью В.В.Загладина и И.Т.Фролова мне удалось снова поехать в Прагу, в «Проблемы мира и социализма», но там радости также не было никакой. В 1981 году я вернулся, но, как и в 1974 году, мне в Москве снова некуда было идти. В Институт философии опять не взяли; в ИСКАН к Арбатову я идти не хотел (потому что я «здешний», все мои интересы, вся моя жизнь – Россия...), и в итоге я пристроился во ВНИИСИ, в отделе С.С.Шаталина, где под меня была создана лаборатория системного анализа культуры. В этом качестве в течение двух лет я вел московский семинар для написания соответствующего раздела в «Комплексной программе научно-технического прогресса СССР на 1986-2005 гг.». Это было интересно – но опять же не мое. Мне хотелось заниматься только одним – массовым сознанием.

И когда Г.Л.Смирнов, став директором Института философии, пригласил меня (это был 1983 год), я сказал: «Георгий Лукич, спасибо! Наконец-то я смогу совместить свое хобби с зарплатой, поскольку последние десять лет получал деньги не за то, чем занимался». Здесь был создан сектор философских проблем общественного сознания, и началась совершенно прекрасная новая, хотя и далекая от собственно социологии, жизнь. До создания ВЦИОМ (1987) и Vox Populi (1989). Но это уже другие сюжеты, не имеющие отношения к начальному, доперестроечному этапу становления и жизни российской социологии.

## **«Институт общественного мнения – отдел «Комсомольской правды»»\***

*– Борис Андреевич, вы известный социолог, автор ряда научных книг, и вместе с тем ваше имя неотделимо от журналистики 60-х годов, от «Комсомольской правды» и её Института общественного мнения. Как вы это сами объясняете?*

– Возможно, случайностью был сам мой приход на работу в газету (прямо скажем, не от хорошей жизни). Но уже характер работы и главное – создание Института общественного мнения отнюдь случайностью не были. Ни с точки зрения времени, в которое все это происходило, ни с точки зрения существа задач, которые мы ставили. Объяснение факта лежало в серьезных исторических подвижках в общественном сознании, случившихся в стране в пору хрущевской оттепели. В равной мере они затронули как социальную науку, которая после долгого исторического перерыва потянулась к конкретному эмпирическому знанию, так и массовую журналистику, занявшуюся энергичными поисками новых форм контактов со своей аудиторией.

*– Институт общественного мнения и стал одной из таких форм?*

– Да. Он возник в мае 1960 года по инициативе работников редакции и с точки зрения официальной академической и университетской науки явился типичным «незаконнорожденным ребенком». В то время тягу к конкретной социологии испытали довольно многие учреждения и организации не академического толка – партийные и государственные органы, администрации заводов, даже правления колхозов. Однако наш центр выгодно отличался от других – недолговечных и самодельных – тем, что ему на редкость повезло с матерью: авторитет и популярность центральной ежедневной молодежной газеты с тиражом свыше четырех миллионов экземпляров, ее большие технические, финансовые и административные возможности позволили придать делу с самого начала завидный размах, широкое общественное звучание и обеспечить ему плодотворное долголетие. Институт просуществовал почти восемь лет (до конца 1967 года), провел в общей сложности двадцать семь опросов общественного мнения, в том числе один международный и двадцать всесоюзных.

Правда, с точки зрения строго административной, институт долгое время оставался, скорее, отвлеченным понятием. Проведение зондажей, обработка и анализ их результатов первоначально не были за кем-либо специально закреплены. Они выполнялись в виде дополнительной и добровольно принятой на себя «нагрузки» сотрудниками отдела пропаганды. Лишь в 1966 году был создан специальный отдел «Комсомольской правды» – Институт общественного мнения – со своим помещением, своими, хотя и очень скромными, штатами и своим бюджетом (он, кстати, предусматривал возможность нанять на временную работу достаточное число интервьюеров, кодировщиков и т.д.).

Корреспондент одной из итальянских газет сообщал тогда своим читателям, что «Московский институт общественного мнения» – огромное учреждение, которое занимает большой дом, насчитывает около 300 сотрудников и располагает мощной электронно-вычислительной техникой. Все это было, мягко говоря, преувеличением (понятно, что в редакцию он и не заглянул). Мы – максимум семь сотрудников – никогда не имели больше двух комнат на шестом этаже комбината «Правда», всю собираемую информацию поначалу обрабатывали вручную, а затем на разных вычислительных центрах Москвы, главным образом ЦСУ.

В отличие от легкомысленного итальянца корреспонденты других иностранных газет и агентств, а также зарубежные социологи нередко поднимались к нам на шестой этаж,

---

\* Беседовали С.Ф.Ярмолюк и М.Г.Пугачева. Опубликовано в: «Пресса в обществе (1959-2000). Оценки журналистов и социологов. Документы» / Авторы и исполнители проекта А.И.Волков, М.Г.Пугачева, С.Ф.Ярмолюк. М.: Московская школа политических исследований, 2000.

интересовались результатами и планами работы. И почти всегда задавали один и тот же вопрос: а почему именно «Комсомольская правда»?

– *И действительно – почему?*

– Во многом в силу субъективных факторов. Что тут имеется в виду? Царивший в коллективе особый дух товарищества, какой-то редкой благожелательности и заинтересованности в общем успехе, носителем которого были ветераны газеты – «сорокалетние старики», в прошлом нередко военные корреспонденты. Молодежный состав редакции – большинство сотрудников получило высшее образование и пришло в газету после переломного 1956 года (уж по крайней мере после 53-го) – и связанная с этим обстановка непрерывного генерирования новых идей, которые активно поддерживались. Столь же молодое руководство, не успевшее утратить вкуса к профессиональному риску. Тогдашнему главному редактору «Комсомолки» Юрию Воронову только что стукнуло 30 лет, его первому заму Борису Панкину, одному из самых активных «катализаторов» процесса создания нашего института, и того меньше – всего 28. Ну и совсем уж случайное присутствие в коллективе философа-методолога, который пытался тем или иным образом приложить свои профессиональные знания к журналистской практике и к тому же был полон научных амбиций, обладал важными связями с разного рода полезными для дела специалистами – социологами, статистиками, математиками<sup>1</sup>.

А если говорить о том, что все эти факторы сошлись именно в газете (не где-то в системе Академии наук) – то здесь мощно действовали уже не субъективные, а исключительно объективные факторы.

В самом деле, несколькими годами раньше в Варшаве появился Центр опросов общественного мнения при Польском радио и телевидении, парой лет позже такой же центр возник в Будапеште. Значит тут существовала явная зависимость: типично социологическая служба, каковой является любой центр изучения общественного мнения, определенно тяготеет к альянсу с тем или иным органом массовой коммуникации. И основа такого тяготения достаточно прозрачна. Изучение общественного мнения, что называется, по определению предполагает наличие постоянной возможности оперативного обращения к массовой аудитории – то ли с целью зондирования ее позиций, то ли с целью ее информирования о результатах зондажей. И наилучшей техникой реализации этой возможности, бесспорно, являются каналы печати, радио, телевидения. В отличие от любой чисто технической связи (например, телефонной или даже – в последние годы – компьютерной) массовая пресса решает эти задачи не только более экономно и оперативно, но и – что представляет особую ценность, учитывая специфику предмета, – наиболее естественным, органическим путем. Ведь любые операции с общественным мнением легко вписываются в восприятие публики в привычные, каждодневные информационные функции той же газеты.

С другой стороны, интерес счастливым образом оказывается взаимным. Начавшиеся после XX съезда подвижки в социальной науке, как я уже говорил, в не меньшей мере затронули и деятельность массовой прессы. Былые безапелляционный арбитрализм и скучная идеологическая дидактика мало-помалу начали сменяться стремлением развить две основные органические функции журналистики – собственно информирования аудитории и выражения общественного мнения. И это заставило прессу искать новые, более прочные и регулярные связи с читателем. Изучение механизмов восприятия информации, как и систематическое изучение всех видов «обратной связи», постепенно осознавалось в качестве

---

<sup>1</sup> Наш собеседник, возглавивший Институт общественного мнения, окончив философский факультет МГУ, а затем аспирантуру по кафедре логики того же факультета, попал в редакцию в 1956 году, в пору своей затянувшейся безработицы, из квартета так называемых диалектических станковистов, в который, кроме него, входили А.А.Зиновьев, Г.П.Щедровицкий и М.К.Мамардашвили. К моменту создания института он был не только одним из редакторов газеты (по отделу пропаганды), но и преподавателем философии на механико-математическом факультете МГУ, кандидатом философских наук, защитившим диссертацию по проблемам логики исторического познания. – *Прим. ред.*

не просто желательного, но и необходимого условия нормальной работы редакций. И отсюда уже было два шага до идеи создания собственной социологической службы, которая могла бы удовлетворить возникшие потребности. Правда, у любой газеты имелась и иная возможность – обратиться к услугам уже существующих социологических центров. Однако ясно, что при прочих равных обстоятельствах создание собственной лаборатории во многих отношениях было куда более привлекательным.

**– К чему, на ваш взгляд, при этом стремилась газета – следовать общественному мнению, чтобы завоевать большую популярность, либо со знанием дела влиять на него?**

– Конечно (чего там говорить!), «Комсомольская правда» тех лет, подобно остальным массовым изданиям, была лишь частью общей идеологической и пропагандистской машины государства и значит не могла развивать особой активности и самостоятельности. И все же «люфт» для свободного поведения в рамках общих правил был достаточно велик, и Институт общественного мнения не только небезуспешно стремился до предела использовать эту свободу, но и многократно «злоупотреблял» ею (что, кстати, в конечном счете – после скандального опроса «Комсомольцы о комсомоле» 66-го года – и привело к его закрытию). Во всяком случае, за все годы его работы редколлегия ни разу не пришлось действовать по чьей-либо указке «со стороны» – ни при выборе тем опросов, ни при определении манеры интерпретации их результатов.

Самопровозглашенный исследовательский центр, созданный в рамках газетной редакции, не мог не решать целой серии задач, связанных с интересами газеты как таковой. Первым из этих интересов было, конечно, распространение и внедрение в массовое сознание ценностей и норм, образцов сознания и поведения, входивших в корпус так называемого коммунистического воспитания молодежи. И, скажем, в своем первом опросе – о войне и мире – редакция явно хотела не только узнать, каким в самом деле было мнение населения страны по этому поводу, но и (это совершенно очевидно) лишний раз провозгласить «преимущество социализма над капитализмом», доказать (показать, убедить), что «Советский Союз – сильнейшая держава в мире», а «Н.С.Хрущев – главный миротворец». Во втором опросе, где речь шла о динамике жизненного уровня населения, главная идея опроса (газеты) снова заключалась не только и не столько в том, чтобы выяснить реальное положение вещей или собрать предложения людей относительно способов решения существующих проблем, сколько в том, чтобы опять же лишний раз подтвердить, что «дела в стране идут очень хорошо», что «главный залог счастья народа – политика партии» и т.д.

Подобное использование результатов опросов резко усиливало пропагандистский потенциал газеты, поскольку теперь пропаганда «подавалась» уже не голословно – с помощью одной лишь словесной эквилибристики и логики, – но куда более убедительно: во впечатляющей упаковке «объективной цифири», полученной «научным путем». Кроме того, прибегнув к публикации на своих страницах различных, не совпадающих друг с другом (в том числе если и не «антисоветских», то заведомо «несоветских», «неправильных») мнений, газета заменяла былую прямолинейность и односторонность большей объективностью и создавала новые возможности для «выпускания пара».

Весьма привлекательным также был значительный рост редакционной почты (в те годы это считалось важным показателем эффективности журналистской работы). Ради этого с 1961 года мы стали широко использовать, наряду с техникой персонального интервью, так называемые газетные опросы – публикации анкет на страницах «Комсомолки» с предложением ответить на вопросы «всем желающим».

Наконец, действительно с помощью Института общественного мнения редакция стремилась еще более укрепить свой авторитет среди читателей, свою популярность у населения. И это ей явно удалось.

**– И как при этом, Борис Андреевич, в вас лично уживались журналист и ученый? Явно выраженный «журнализм» в деятельности Института общественного мнения, видимо, вступал в противоречие с научными интересами, поставленной исследовательской задачей?**

– Если угодно, это была та цена, которую социология опросов должна была заплатить за свое рождение и существование. И нельзя не признать, что цена немалая. Заведомо зауженным было понимание той роли, которую новая институция по своему определению призвана играть в жизни современных обществ.

Известно, что в западном мире понятие «общественное мнение» употребляется в двух различных смыслах: во-первых, как некоторое коллективное суждение множества индивидов, выражаемое тем или иным образом, и во-вторых, как политический институт (так называемая пятая власть), участвующий в управлении жизнью общества. В соответствии с этим любая деятельность по изучению общественного мнения «помогает» ему выразиться и реализует его участие в жизни гражданского общества, то есть формирует общественность, повышает уровень ее самосознания, обеспечивает ее связь с политическими институтами, в том числе институтами власти.

Разумеется, в ту пору жизни России, о которой теперь идет речь, об общественном мнении можно было в принципе говорить (причем со многими оговорками) лишь в первом смысле и вовсе нет – во втором. Это значит, что возникший в стране Институт общественного мнения, при прочих равных обстоятельствах, мог бы рассматриваться как некий «подарок судьбы», как некий нечаянно подвернувшийся механизм для исторического прорыва в гражданское общество, в политическую демократию. Однако ничего этого не произошло и, конечно же, не могло произойти. Несмотря на наступившую (к тому же, как скоро выяснилось, весьма кратковременную) оттепель, страна была категорически не готова к изменениям, случившимся с ней двадцать с лишним лет спустя. Потому «революционная» по своим общественно-политическим потенциям деятельность нашего центра не получила тогда сколько-нибудь адекватной оценки и не была востребована в рассматриваемом значении ни газетчиками, ни политиками. Те и другие упорно видели в ней лишь «еще одну» (правда, очень удачную и броскую) рубрику в газете – не более.

Впрочем, на чисто спонтанном уровне, независимо от интересов редакции и политических лидеров, наша работа и ее цель – формировать общественность, прививать людям навыки участия в публичной дискуссии, создавать и использовать язык гражданского общения, отличный от официального, и т.д. – все же не была безрезультатной, по-видимому, давала какие-то плоды.

Платой «журнализму» для нас как социологов было и то, что редакцию совершенно не волновали такие сюжеты, как репрезентативность информации, строгая выверенность задаваемых вопросов, соблюдение принципа анонимности ответов, чистота кодирования полученной информации и многое другое. Ей вовсе не нужна была тяжеловесная, строгая «наука», ей нужно было завлекательное, оперативно изготавливаемое «что-то». В результате этого поле деятельности Института общественного мнения было полем не только коллективного энтузиазма и радости (по поводу каждого нового опроса и каждой крупной публикации), но и постоянных скрытых и явных напряжений между интересами «газеты» («журналистов») и интересами «науки» («социологов»), равно как и постоянных компромиссов между этими интересами.

В самом начале пути такого рода компромиссы решались, как правило, в пользу «газеты». В том числе, видимо, и поэтому результаты первых четырех опросов были восприняты в обществе исключительно как явление журналистики, а отнюдь не науки. Однако начиная с пятого исследования, посвященного проблемам движения за коммунистический труд, ситуация стала заметно меняться. «Продукция» института начала активно проникать в научную литературу, рассматриваться в одном ряду с опросами и исследованиями других центров социологической науки в стране. Такое изменение в балансе «газета – наука», особенно на втором этапе деятельности Института общественного мнения «Комсомолки» (1965-1967 годы), обернулось в конце концов прямым конфликтом между мной как руководителем института и редколлегией газеты и, безусловно, способствовало его «безвременной» (а на самом деле еще как «временной»!) кончине.

Во всяком случае, независимо от того, каким образом объединялись для меня тогда наука и журналистика, каковы были плюсы и минусы обеих, мне удалось понять самое важное: что общественное мнение – одна из форм существования и выражения не группового, не классового, а так называемого массового сознания; что общественное мнение может быть и бывает «всяким» – широким и узким по своему субъекту-носителю; единодушным и (в подавляющем большинстве случаев) плюралистичным по своему составу; ложным и истинным по своему содержанию; компетентным и некомпетентным по своему значению; «естественным» (самозарождающимся) и «искусственным» (создаваемым) по механизмам своего возникновения; спонтанным и организуемым по механизмам своего выражения и т.д. Окончательное обобщение всей этой работы, занявшей несколько лет, приняло форму двухтомной докторской диссертации «Проблемы методологии исследования общественного мнения», завершённой в 1966 году, а затем монографии «Мнения о мире и мир мнений», изданной Политиздатом годом позднее.

Так что при вынужденном «журнализме» в работе Института общественного мнения «Комсомолки» сама информация, полученная в ходе опросов, оставалась в рамках серьёзной социологии, сохраняла научный характер и, следовательно, оставляла принципиальную возможность для иного рода ознакомления с нею широкой общественности и иного рода ее содержательной интерпретации, нежели просто публикации в газете в начале 60-х годов. В некотором смысле она бесценна, если учесть, что тогда это был единственный социологический центр, который мог проводить и проводил многие свои исследования не на каком-то отдельном предприятии и не в каком-то отдельном городе или регионе, а в масштабах страны. Зафиксированные образцы сознания людей, живших в эпоху Хрущева, обладают непреходящими достоинствами. Разумеется, прежде всего как живые свидетельства менталитета собственно «шестидесятников». Но не только. Объективный наблюдатель найдет в них также указания и на некоторые более глубокие пласты сознания тех, кого теперь нередко оскорбительно именуют «совками», но кто на поверку, при ближайшем рассмотрении, оказывается самым российским народом. Широко распространенный взгляд, будто бы общественное мнение – само непостоянство (сегодня оно одно, завтра другое – «семь пятниц на неделе») и что поэтому обращение к его тестам сорокалетней давности не может дать ничего, кроме каких-то (в том числе невнятных) намеков на «дела давно минувших дней», «преданья старины глубокой», – не более чем предрассудок. Ведь представленное в опросах общественного мнения массовое сознание состоит не только из «сиюминутных» настроений, эмоций, влечений, подсознательных импульсов, но и из множества других, фундаментальных образований, формирование и эволюция которых происходят на протяжении десятилетий и столетий.

**– Вы потом отошли от журналистики? Не возвращались больше и к этим материалам?**

– Несколько лет я работал в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма» (в два «захода», со значительным разрывом во времени), но работа там имела свою специфику. А что касается материалов, связанных с опросами в «Комсомолке», то именно этим я сейчас и занимаюсь. В своей первой книге о массовом сознании я рассматривал его чисто теоретически и пообещал, что позже выйду на его конкретные характеристики. Вот сейчас и настало время – изучаю наши опросы времен Хрущева.

**– И о чем говорит уже сегодняшней ваш анализ работы той поры? Что, в частности, судя по этим опросам и по итогам осуществления ваших последующих проектов, можно сказать о влиянии прессы на массовое сознание и сознание личности, на ее социальную ориентацию и социальную активность?**

– Должен сказать, что сейчас меня совершенно не волнует то, что обычно волнует исследователей общественного мнения, – распределение ответов на те или иные вопросы. Я пытаюсь восстановить структуру массового сознания по десяти определенным его характеристикам. Например, первый признак – включенность в проблему, в диапазон интересов людей того времени; второй – морфология самого массового сознания, какие типы

высказываний преобладают. А завершается этот ряд «плюрализмом-монизмом» мнений (противоречивость-целостность сознания; реактивность, тип реакции на вопросы, на те или иные явления жизни; ценностные характеристики – какие ценности считаются главными, какие второстепенными и т.д.).

Дело в том, что в теории и идеологии того времени утвердилось весьма вредное – с точки зрения прогресса – и абсолютно ложное суждение о том, что общественное мнение при социализме едино, что «носителем» его является народ в целом. О чем бы ни заходила речь – «все как один»! Конкретные исследования, которые я начал, показали, что это полная чепуха, что общественное мнение при социализме, как и в любом другом обществе, плюралистично, оно распадается по каждому конкретному сюжету на большое количество точек зрения, не совпадающих друг с другом, а иногда и противоречащих друг другу. Это удалось установить уже в самых первых опросах «Комсомолки» (о войне и мире; об уровне жизни; о новом поколении – «Исповедь поколения»).

Ну, прежде всего стало очевидно, что общественное мнение у нас существует – а эта проблема тоже остра и важна, ибо само существование общественного мнения есть некий результат идущего в обществе дискуссионного процесса. Во-вторых, повторю, оно плюралистично, и сам этот плюрализм различен: в опросе о «войне и мире» 98% высказалось «за» мир, а, скажем, уже в следующем опросе картина предстала иная, потому что уровень жизни повысился далеко не у всех, и общество раскололось на три неравных группы.

Исследуя плюрализм мнений, можно было оценить влияние прессы на ту или иную точку зрения: если бы оно было всеобъемлющим, абсолютно монолитным, тогда правомерно было бы говорить, что это проникла идеология, полностью захватив умы и сознание людей, или люди сами сошлись во взглядах на тот или иной предмет по каким-то невероятным обстоятельствам. А вот при плюрализме мнений трудно понять, почему одни занимают позитивную позицию, другие – негативную. Можно было, скажем, точку зрения первых связать с влиянием прессы – но как в это укладывается влияние прессы на точку зрения негативную... В общем и целом это была довольно сложная задача, и она остается такой, поскольку сегодня существует два взгляда на времена Хрущева, в том числе и в отношении «влияния прессы». Один абсолютизирует это влияние, другой абсолютизирует как раз так называемую полную самостоятельность масс и их свободное существование вне системы. Те, кто разделяет эту точку зрения, отрицают влияние прессы как таковой, говорят, что она «бьет» мимо цели. Именно этим объясняют столь быстрый распад Советского Союза и падение социализма как системы, как строя: когда возникла возможность свалить с себя бремя тоталитарного государства – масса это и сделала.

А что в действительности? Этим я сейчас и занимаюсь, полагая, что и та, и другая точки зрения глубоко ошибочны, и оценивать надо, скорее, влияние не прессы как таковой, а идеологии в целом (строго говоря, влияние прессы в чистом виде мы измеряли только один раз, в 1967 году, позже хрущевского времени).

Непосредственно сейчас я провожу анализ массового сознания по отношению к движению «За коммунистический труд». Это интересная вещь – начиная с того, что я был свидетелем «перерождения» газетной акции (Аджубей был тогда главным редактором «Комсомолки») в новый «великий почин». Просто сидели и думали, как отметить очередной юбилей Октября, и именно Аджубей, по-моему, придумал вот это самое движение за «коммунистический труд»: «А давайте мы грохнем, давайте поедем в Москву-Сортировочную!»... Казалось бы, в него включился весь народ, казалось бы, это был один из постулатов самой пропаганды – она настаивала на том, что строительство коммунизма осуществляется всем народом. В той или иной форме – на уровне реального участия или хотя бы в виде разного рода забот, переживаний, «проговаривания» разных слов по этому поводу – но «строительство коммунизма» захватило всех, не было семьи, где бы это не обсуждалось (возможность – невозможность, вера – неверие и т.д.). И вот наш опрос, который мы провели в 1961 году, показал, что это абсолютная «липа». Статистика в том году утверждала, что двадцать миллионов человек борются за звание «бригад коммунистического

труда» или «ударника» (это статистика официальная; поскольку движение возглавлялось профсоюзами и комсомолом, то в ВЦСПС и в ЦК комсомола получали официальные данные по поводу «ударников»). Три миллиона человек к 1961 году уже имели это звание, 80 тысяч коллективов (или 200 тысяч? – уже не помню) его добивались, в каждом коллективе не меньше чем по тысяче-две человек... Получалось, как минимум семьдесят пять миллионов человек участвовало на том или ином уровне в «коммунистическом» движении, и все это еще обсуждалось в семьях, на собраниях. Действительно – весь народ!

Наш опрос мы проводили, когда газеты вели дискуссии по поводу новой Программы партии (перед съездом), и тут тоже создавалась иллюзия, что участвуют все – печатались замечания, возражения, добавления и т.д., и т.п. Опрос проходил среди представителей, так сказать, трех типов сознания. Опрашивали коллективы (по очень надежной выборке). В газете опубликовали анкету, как нередко делали, с призывом откликнуться на нее – и «ударникам», и тем, кто борется за звание, и тем, кто вообще плевал на это звание, но все же хотел сказать что-то свое. И вот когда откликнулись все желающие, набралось 1290 человек. Такого срама, такой неудачи с точки зрения массовости участия в опросе общественного мнения мы вообще никогда не видели (перед этим прошли опросы на темы «Исповедь поколения» – 17446 человек, «Семья» – 10500 человек). А тут – 1290. Совершенно непонятная вещь поначалу. А потом выяснилось, что огромная масса людей не только не участвует в этом движении, но не хочет его и обсуждать. Для них оно просто не существует, как не существует и само строительство коммунизма как таковое. Это был, конечно, шокирующий результат, шокирующий для пропаганды, для идеологии, и поэтому мы имели очень большие трудности с публикацией результатов. К тому же выяснилось, что у людей весьма смутные представления о коммунизме и о коммунистическом труде (абсолютная разорванность сознания!), каждый по-своему понимал, что значит «жить и работать по-коммунистически», путали даже самую «основополагающую» формулу. Это говорило о том, что пресса, несмотря на гигантский прессинг на массовое сознание, с точки зрения проблематики движения за коммунистический труд со своими задачами «не справлялась». Значит сама пресса или сама идеология не имели четкой концепции. Вернее, концепция-то была: работа – на первом месте, жизнь – на втором. Установка была именно на эту формулу, а народ тем не менее (во всяком случае значительная его часть) в этом деле «не разобрался»...

**– Речь идет, таким образом, об отражении массового сознания в прессе или, напротив – о влиянии прессы на это массовое сознание?**

– Нет, о влиянии. В эпоху Хрущева, должен буду я сказать, когда стану подводить итоги всех проведенных тогда опросов, влияние идеологии, прессы в частности, было грандиозным, тем не менее не беспредельным. Далеко не беспредельным, потому что в обществе существовали многие сегменты, которые избежали зависимости от идеологических построений. Это выявилось особенно наглядно по результатам третьего нашего опроса, самого популярного, знаменитого, имевшего большой зарубежный отклик. Суммарный анализ ответов на его девятнадцать вопросов позволил выделить как минимум семь типов молодых людей, из которых только три первых типа можно было посчитать порождением тогдашней идеологической деятельности. Это были так называемые революционеры (продолжатели дела отцов), их было очень много. Второй тип – так называемые романтики, которые при описании своей деятельности не обязательно пользовались словом «коммунизм», тем не менее заведомо отдавали приоритет благу общества перед собственным благом. У них был свой лозунг: «Сделать все, отдать максимум сил для пользы народа, для пользы общества». Они очень серьезно – по лексике, типу поведения – отличались от «революционеров». Третий тип – это люди, активно включенные собственно в трудовой процесс, видевшие смысл жизни в творческом труде (таких было тоже немало). Это были профессионалы, «творцы», которые если и вступали в партию, то для них все эти идеологические вещи были вторичными (в то время как для «революционеров», «романтиков» – на первом месте); они хотели жизнь положить на то, чтобы сделать что-то

значительное в своей сфере – своими усилиями продвинуть науку, практику, искусство и т.п. Четвертый тип – это «трудяги», люди, которые хотели «жить как все», которые вообще не пользовались лексикой, связанной с коммунизмом, социализмом и т.д. Просто хотели иметь нормальную, обеспеченную семью, меньше забот. Их уже, с моей точки зрения, идеология не захватывала, хотя они составляли большинство в обществе, судя по многим другим опросам. Пятый тип – так называемые пессимисты, люди недовольные, разочарованные, начинавшие с активной деятельности (в комсомоле или в тех или иных сферах труда) и пришедшие к выводу, что главная ценность – деньги, а вовсе «не ваши коммунистические идеалы». Но они попадали в категорию «разочарованных», потому что начинали иначе, а потом «муж оставил», «с детьми не получается», «с работы выгнали» (много было таких сюжетов). Шестой тип – так называемые нигилисты. И если «разочарованные» не отметали социалистические ценности как таковые, но считали, что сфера их реализации уж очень узка («острова социалистические, а вся основная жизнь не очень хороша»), то «нигилисты» отметали все (в чем было, конечно, много позы).

*– Имеются в виду диссиденты?*

– Нет. Но седьмой тип я обозначаю как «скрытые диссиденты», которые обнаружили уже тогда, в опросе 1961 года. Главным мотивом диссидентства в те годы, на мой взгляд, были репрессии против родителей, это четко просматривается. Очень мало таких людей приняли участие в опросе, тем не менее некоторые даже указывали свои фамилии. Позднее диссидентство уже было связано с влиянием других моделей поведения и самой жизни, с пониманием того, что существует нормальное общество, а у нас оно ненормальное, и потому надо двигаться от тоталитаризма к некой демократии и т.д. «Скрытые диссиденты» так вопрос не ставили, они не собирались бороться. Всем им было где-то под тридцать, и у всех в ответах на анкету (а они приходили из разных концов страны) присутствует «репрессия отцов», которая не оставляет их в покое.

Вот наличие этих семи, как минимум, типов (можно было дробить и еще) этих людей, в разной степени причастных к тоталитарной идеологии, показывало, что идеологическое воздействие, в том числе и прессы, не было повсеместным и всеобъемлющим. То же самое мы отметим и позже, в других опросах, в частности и том, которым кончается эпоха Хрущева.

*– Борис Андреевич, а журналисты, работавшие в те годы, ставили задачу «объять» все слои, всех потенциальных читателей или имели в виду «свою», определенную аудиторию?*

– Объять все? Нет, конечно. Пресса и тогда была разная. Замечу, кстати, что процесс ее революционизирования начался, на мой взгляд, не с «Известий» (как принято считать), а с «Комсомольской правды» и при участии Аджубея. Он очень активен был как заместитель главного редактора (меня на работу в «Комсомольскую правду» брал именно Аджубей, это был март 1956 года). Факт тот, что он был не просто замом Горюнова, а по-настоящему работающим замом, то есть определял идеологию газеты, впервые именно там «запустил» те самые типы газетного творчества, которые потом в «Известиях» расцвели полностью, потому что «Известия» была «взрослой» – государственной, правительственной – газетой.

Сами по себе мы, конечно, не ставили задачу охватить всех или охватить всё. Но таков был главный постулат тоталитарной идеологии, исключаящий в любой сфере деятельности что-то не вписывающееся в образцы.

*– Тем не менее именно тогда, скажем, журналы «Новый мир» и «Октябрь» явно ориентировались каждый на своего читателя. Они уже знали свою аудиторию или каким-то образом формировали ее?*

– Трудно сказать. Я думаю, что в смысле формирования аудитории всё получалось случайно. Целенаправленной деятельности такого рода не было, потому что для этого надо очень хорошо знать, каков твой читатель. Круг авторов был вполне определен и известен, а вот круг читателей – нет. Не случайно, я думаю, социолог Шляпентох по заказу редакций в

середине 60-х проведет ряд исследований по изучению читательской аудитории крупнейших газет.

Но сам факт «размывания» общества был в то время уже очевиден. Речь шла о расшатывании тоталитарной наследственности, причем происходило это где целенаправленно, где случайно – и не без активного участия прессы. Мы тогда, например, в «Комсомолке» возродили действенную журналистскую форму – социально-экономический очерк: помню, в 1957 году дали две полосы с рассказом о годовом бюджете семьи Андриановых из Горького. Был тогда у нас Александр Владимирович Гурьянов, журналист-энтузиаст, человек свободный (так сказать, на вольных хлебах), работавший на «Комсомолку» по-крупному. В течение года он вел дневник (бюджет той семьи) и потом выплеснул этот совершенно фантастический по тем временам материал, где отнюдь не всё безусловно соответствовало официальной идеологии...

Институт же общественного мнения просто взрывал тоталитарную систему управления, прежде всего потому, что выявлял несовпадения точек зрения, разные взгляды на предмет, а не потому только, что ставил какие-то опасные вопросы.

***– А не было такого, Борис Андреевич, что сознание людей уже изменилось, «ушло вперед», а пресса всё еще ориентировалась на некий прежний либо усредненный, «примитивный» уровень?***

– Не думаю. В шестидесятые годы, по-моему, пресса все-таки была в лидерах по отношению к сознанию. Кстати говоря, иногда сейчас читаешь обратное – во многих материалах я это видел – что в то время был сплошной обман публики и она ни в чем не участвовала, была как «стадо баранов» и т.д. Это полная ерунда. Ведь, в частности, в коммунистическом движении были реальные практики, реальные трудовые успехи – не только идеологические конструкции. Люди вдруг меняли образ жизни, бросали пить, курить и т.д. (все это определялось через отрицание). Росла производительность труда. Люди писали о случаях, когда в движение зачисляли не на добровольных началах, а просто говорили: «Вот ты будешь ударником». Или когда весь коллектив объявляли «коммунистическим», причем создавали для него тепличные условия, весь инструмент, сырье шли в ту бригаду, чтобы она показывала чудеса героизма, а все остальные ходили с «голым задом». То есть очень много было «липы», люди это видели, понимали – наш опрос это выявил. И тем не менее по наивности, по простодушию и без зарплаты работали, скажем, в честь полета Германа Титова. Час работы бесплатно – это же было! И уж никак нельзя сказать, что это просто была игра в слова. Люди меняли свою жизнь, находили новые практики (деятельностные, а не только словесные), хотя, повторю, многие уже понимали, что это «липа». Но продолжали настаивать на том, что это хорошо. Такой факт двоемыслия был впервые замечен нами – не в осуждение.

***– Но пресса же и способствовала такому двоемыслию, одновременно и насаждая и осуждая подобную «липу»? В этом смысле она играла негативную или все же позитивную роль?***

– Позитивную.

***– Настойчиво «вдалбливая» в сознание масс заведомо вздорные вещи?***

– Дело в том, что вообще система, так сказать, «вдалбливания» – это в действительности очень сложная проблема, потому что с помощью прессы, с помощью «вдалбливания» в том числе происходило социальное интегрирование общества – чего не делает нынешняя пресса, в чем ее главный грех. Почему я и считаю, что главным врагом нашего общества сегодня являются средства массовой информации – не пресса даже, а прежде всего телевидение. Это моя точка зрения. Уже пять лет я ее отстаиваю, был дважды освистан в Доме журналиста, когда это произносил, но я на этом категорически настаиваю: главный враг нынешнего общества – телевидение. А пресса сейчас не имеет никакого влияния. В перспективе она вообще исчезнет. В том числе под воздействием чисто технологических решений, поскольку Интернет скоро вытеснит и телевидение тоже. Одно

вытесняет другое. Это конкуренты. В нашей стране, правда, это произойдет еще не скоро. Очень не скоро.

**– В том же Интернете можно было познакомиться с «Тезисами о СМИ и не только о них» вашего коллеги, социолога Ослона. Утверждая, что общество делится и на ментальные группы – группы на волне настроений, – что средства массовой информации и население – это два взаимодействующих потока (информационный поток и поток потребностей-ожиданий), он подчеркивает необходимость особо тонкой настройки, точечного попадания в работе СМИ – иначе она становится бессмысленной. Возможно, речь и могла бы идти о такой переориентации прессы, но не о её исчезновении?**

– Эти вещи замечены уже давно. Происходит так называемая демассовизация массовой информации, что связано именно с новыми технологиями. Когда у тебя не два или три канала, а сто, ты можешь найти здесь все, что тебе угодно. На определенном уровне развития обществ возникает дифференцированный интерес. У нас он еще очень низок, очень ограничен в силу нашей бедности.

Тот же Интернет – это гигантский, небывалый веер информационных предложений, и поскольку западное общество дифференцировано очень сильно, в том числе и на малые группы (чем, собственно, демократия отличается от того, что имеем мы), возникает сто тысяч разных точек зрения соответственно предложению. Чем более дифференцируются потребности, интересы людей, тем очевиднее «гибнет» так называемая тоталитарная структура информации. И в этом смысле говорить о том, что пресса, наша пресса повысит свою роль в обществе, совершенно невозможно.

**– А в том, что касается её функции организатора?**

– Нет. Это именно система воздействия на общественное мнение, на поведение и способы сознания людей. Нынешняя пресса ни в одной стране мира не является организатором.

**– А способна ли пресса – в содружестве с наукой – как-то повлиять на выбор обществом лучшего варианта социального устройства?**

– Не способна, если за наукой и прессой не стоит общая структура власти. Если общество бессильно. Я, скажем, могу заниматься наукой, но мое влияние нулевое. Мою книгу «Массовое сознание» здесь никто и не прочитал, хотя в любом другом обществе она могла бы сыграть свою роль. Никакая пресса, никакая наука в ситуации сплошного хаоса – с точки зрения прежде всего правовой – ничего не может сделать. То есть она может сделать все, что угодно, если появляется некий бизнесмен, дает деньги, ты для него проводишь исследование, публикуешь данные и все такое прочее. Ты получаешь удовлетворение, если ты вообще азартно работаешь; сам-то получаешь удовлетворение, но результат нулевой, потому что интерес прессы и интерес науки не может быть сильнее тех механизмов, которые управляют обществом, а эти механизмы связаны с властью, законом – в том вся и проблема. Очень долго еще будет то, что мы имеем сейчас, пресса будет продолжать играть безумно плохую, негативную роль – до тех пор, пока не появятся первые социальные субъекты, которые заявят о себе и которым удастся противостоять власти, то есть когда возникнут первые элементы гражданского общества, потому что пресса – их рупор.

**– Вам не кажется, что получается замкнутый круг: гражданское общество не может возникнуть без прессы, а пресса не способна играть свою положительную роль вне гражданского общества?**

– Я говорю, что гражданское общество не может возникнуть не без прессы, а без его субъектов. Гражданское общество – это совокупность определенных субъектов, которых отличают позитивная деятельность в том или ином направлении и их независимость от государства. Вот у нас сейчас нет таких субъектов, они лишь «прорываются». Здесь действительно круг, классический круг. История без конца повторяет эту ситуацию: курица или яйцо. И тем не менее где-то осуществляется какой-то точечный прорыв, благодаря чему

так называемый циркулюс витиозус – «порочный круг» разрывается. Эти прорывы могут быть и в прессе в том числе.

Семьдесят лет как минимум мы будем иметь тот самый кипящий «мутный бульон», которому подобно сейчас наше общество; должно смениться три поколения, чтобы появились люди абсолютно непорочные...

– *Это не идеализм?*

– Какой же это идеализм? Так оно было во всей истории. Прорыв осуществляется людьми, которые действуют «во благо общества». Они придут. Прогресс все равно бесспорен. Накопление все равно идет. Нулевой результат, которым кончилась оттепель, через двадцать лет привел к 1985 году. Так или иначе отложение определенных результатов в ткани общества происходит. Миллионы людей втянуты в новые формы жизни (в том числе ненормальные), которые делают невозможным возвращение к тоталитарной системе.

– *Иногда говорят, что «шестидесятники», в том числе и журналисты и социологи, лучшие из них, тем не менее делали «черное дело», ибо стремились усовершенствовать негодную систему. Вы с этим готовы согласиться?*

– Это неправда. Категорически не согласен с тем, что я делал «черное дело». Я создал Институт общественного мнения, который мог стать первым прорывом в настоящую демократию. Этот прорыв не состоялся потому, что его никто не осознал как демократию. Тем не менее рубец – инфарктный или инсультный – он у общества оставил. У меня масса неизданных книг, нереализованных проектов. Но нулевой результат, о котором я говорил, тем не менее не дает мне основания утверждать, что вся работа была черно-белой или напрасной.

Нет, наша пресса тоже не делала «черное дело», она, скорее, как я уже говорил, расшатывала систему. Это происходило в массовом масштабе. В общем за исключением откровенных холуев, которые получали с барского стола и продавались в чистом виде, все остальные работали на «расшатывание». Даже странные «звездочеты в колпаках», типа Лотмана, который, казалось бы, неизвестно чем занимался и вообще никому не мешал...

Когда мы проводили свое весьма обстоятельное социологическое исследование в Таганроге (1967-1974 годы), включающее и деятельность прессы, то результаты его уже показывали начавшийся распад тоталитарной системы информации. Каждый начал «дуть в свою дуду» более чем было дозволено, и это было связано не с демократизмом строя, а с его слабостью. Он уже разрушался. Характерно, что возникли немалые сложности с публикацией итогов «Таганрогского проекта», хотя осуществлялся он по заказу ЦК КПСС. Возник феномен «непослушной» прессы.

А 1985 год – это уже грандиозный сдвиг во всей мировой истории, это уже разрушение системы.

... Что еще можно сказать о прессе начала 60-х? Вот я беру газету «Известия», газету «Комсомольская правда». Блистательные по форме, очень острые по содержанию. Как это ни абсурдно звучит – во многом благодаря чисто исторической случайности: что Аджубей был зятем. Этим многое, очень многое можно объяснить. Случай, как известно, играет гигантскую роль в истории. Не будь этого случая, мы вряд ли имели бы в те самые годы такой результат. Не исключено, что следствия XX съезда партии, борьбы с культом личности были бы гораздо более слабыми, если бы не это вот обстоятельство.